

Вл. ЖЕЛЕЗНЯК

Голоса времени

ВЛАДИМИР ЖЕЛЕЗНЯК

Голоса времени

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ,
МИНИАТЮРЫ

Северо-Западное книжное издательство
1976



Первые повести В. С. Железняка «Она с Востока» и «Пассажиры разных поездов» появились в начале тридцатых годов в московских сборниках товарищества писателей «Недра». С 1936 года он живет в Вологде, сотрудничает в музее и творческой организации художников, изучает историю и искусство Севера, работает над материалами о В. В. Верещагине и Ф. М. Достоевском, печатается в местной и центральной прессе. Отдельным изданием вышли «Повесть о творчестве» (1956), «Вологда» (1963), «Художник Верещагин» (1967), «Отзвеневшие шаги» (1968), «Родное» (1972).

Новая книга Владимира Железняка — результат его многолетних исторических разысканий.

Ж $\frac{0732-022}{157(03)-76}$ Б316—76



ПРЕДИСЛОВИЕ

Если бы мне в далекие студенческие годы сказали, что вся моя последующая жизнь пройдет в Вологде, я бы очень удивился. О русском Севере я знал только из лекций профессоров Ю. Соколова и И. Розанова да из «Истории искусств» Игоря Грабаря. Знал еще, что есть вологодские кружева и что русское «парижское» масло — вологодское.

Когда судьба забросила меня в Вологду, я первые дни ходил по городу ошеломленным. Сразу удивило — деревянные мостки вместо тротуаров и обилие коз, особенно летом. Но вскоре я полюбил задумчивыми белыми ночами прогуливаться по заречным улицам.

Тишина. Деревянные особнячки с причудливой кружевной резьбой, с антресолями и балкончиками, мезонинами и точеными колонками, с букетными гирляндами по фасаду, запах черемухи у палисадов, кругом зелень и милый провинциальный колорит, знакомый по произведениям классиков.

Так и казалось, что вот из этого трехоконного ампирного домика выйдет в крылатке и в широкополой шляпе бородатый писатель-публицист Николай Васильевич Шелгунов и, сутулясь, опираясь на палку, направится за реку «в город», к удивительному храму Варлаама Хутынского, где вместо куполов изящные вазы и где рядом в двухэтажном особняке его ждет Павел Владимирович Засодимский.

Я населял город людьми, которых не забыла история. И вот уже на скамейке Соборной горки сидят лох-

матый семинарист Василий Сиротин, поэт «Улицы», и его учитель — историк Николай Иванович Суворов, благообразный, солидный, в форменном сюртуке. И мимо с краснощекой гимназисткой проходит юный канцелярист губернского правления Феодосий Савинов, будущий автор «Родного». А там слышна далеко разносящаяся по реке песня. Это на большой лодке, где сидит учащаяся молодежь, дирижирует хором вихрастый гимназист Володя Гиляровский...

В белые ночи возможно всякое. Скажем, зайдя в городской парк, ранее именуемый архиерейским, увидеть сопровождаемого слугой худенького старичка и узнать в нем Константина Николаевича Батюшкова, прославленного пиита российского.

Все возможно в белые ночи...

Пройдя к памятнику 800-летия Вологды, можно представить себе стародавний городок с его первоначальной деревянной церквушкой, избами с подслеповатыми окошками. А поблизости богатые дома воеводы, дьяка и купцов, украшенные затейливой резьбой...

Населен был город смелым и отчаянным до безрассудства народом густых новгородских кровей, что шел на парусниках за пушниной и морским зверем аж до самого Белого моря, пробивая тропы в лесах за куницей и соболем, строил поселения в верховьях полноводных рек, занимался подсечным земледелием и всяким нужным промыслом.

Закроешь глаза и как бы внутренним зрением увидишь ладьи у берега, русоволосых предков в домотканьи и меховых треухах, услышишь отдаленный гул на торговой площади, запах свежих лосиных шкур и связок пушного товара и непередаваемый аромат дикого лесного меда.

Да что говорить — тороват, расторопен был вологжанин и знал о нерасторжимой связи со своей великой ровесницей — Москвой, собирательницей земель русских, и доказал это не единожды и на поле Куликовом, и в походах на Казань, и сам грозный царь жаловал не в пример другим городам Вологду каменным ожерельем и престольной Софией.

Богатела Москва — богатела и Вологда, и тянулись через нее пути на Север и на Урал, и в иноземные державы. А в лихолетье вологжане и устюжане, тотьмичи

и белозеры освобождали под знаменами Минина и Пожарского от лихих воров и захватчиков Москву. Всегда откликалось сердце Вологды на призыв Москвы.

Обязательно придите в белые ночи в сквер 800-летия, прислушайтесь к зову, идущему от веков, и преисполнитесь благодарностью к этой земле, частице великой родины — России.

Древнее и священное место!

На моих глазах Вологда менялась. Я видел военную Вологду, город госпиталей и эвакуированных ленинградцев. Город, где в палисадах уже разводили не цветы, а картошку. В те годы гитлеровцы надругались над святынями Новгорода и Пскова, нарушили пушкинские места.

Старый художник Александр Иванович Брягин, когда-то реставрировавший памятники Новгорода, знаток древностей русских, ходил по госпиталям и со слезами на глазах рассказывал раненым бойцам о непреходящей красоте созданий народа.

Тогда был открыт Софийский собор, заложенный Иваном Грозным, и в нем развернута экспозиция «Славное прошлое Вологды». Собор был холодным, неотапливаемым, но сотрудники музея водили экскурсии солдат, едущих на фронт. Они внимательно слушали объяснения и смотрели на оружие, которое разило тевтонов, шведов, наполеоновские полчища, а со стен собора на них смотрели изображения русских князей, созданные артелью живописца Дмитрия Плеханова. Тут и Владимир Киевский, и Александр Невский, и многие другие.

Среди воинов были солдаты-артиллеристы и конники-казахи, сибиряки и украинцы, и им всем был небезразличен чудесный памятник вологодского искусства. И чернильным карандашом писали они в книгу отзывов: «Музей обеспечивает сохранность нашей дивной старины, особенно теперь, когда враги разрушили Псков и Новгород. Надо любить и беречь нашу старину». А группа младших лейтенантов записала: «Очень ценно сохранить для будущего памятники прошлого».

Двадцать лет мы с женой-художницей прожили в башне старинной «цифирной школы», входящей в комплекс Вологодского кремля. Каждое утро меня будили куранты звонницы и голуби, а летом — стрижи, а пе-

ред окном возвышался величавый Софийский собор. Собор вошел в мое сознание настолько зримо, что даже теперь, на новой благоустроенной квартире, нет-нет да и мелькнет в окне белопенная София и явственно зазвучат куранты.

Время идет. Мы стареем, а Вологда молодеет. Нет уже дощатых тротуаров, кругом асфальт, вырастают новые жилые кварталы и предприятия, клубы и школы. Вологда строится.

Современная Вологда — один из крупнейших промышленных и культурных центров Севера, и не только кружева и масло, но и различные машины расходятся по белу свету с маркой «Сделано в Вологде». Я радуюсь этому, но сердце никогда не останется равнодушным к узорным особнякам заречья, к монолитным стенам Вологодского кремля. И вправду говорят: первое впечатление самое яркое, первая любовь — самая сильная.

ПОВЕСТИ



ЗАРНИЦЫ НАД РУСЬЮ

Чем лучше будем знать прошлое, тем легче, тем более глубоко и радостно поймем великое значение творимого нами настоящего.

А. М. Горький

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Василий Иванович самолично загнал вепря. Вепрь силы неимоверной поднял на клыки двух княжеских гончих, и тогда, по знаку государя, ловчий Гаврила Лаптев, метнув в зверя дротик, рассек ему голову, а затем прирезал. Собаки еще долго ярились вокруг вепря, слизывая кровь и скуля.

День прохладен, и холодна голубизна неба с белыми прожилками. В бору запах прошлогодней прели, болота, раздражающий сосновый дых.

Возвращаясь в Москву, Василий Иванович обратил внимание на высокое дерево — на нем возвышалось грубо собранное ястребиное гнездо. Ястребиха принесла полёвку и кормила птенцов. Увидев охотников, птица зло и испуганно смотрела на них.

— Вот я ее сейчас,— сказал молодой дворянин Ни-

кита Одоевский,— для государя добуду,— и прицелился.

— Не тронь, пускай живет,— приказал Василий Иванович и насупился. Опустил поводья коня и долго разглядывал гнездо.

— Люто мне,— тихо молвил, прикрыв рукою глаза. — Яз несчастен и презрен.

— Чем, государь? — почтительно спросил его Никита.— Кажись, держава велика, живем за тобой, людишки твои, яко у Христа за пазухой. Дай Пречистая богородица во всех делах тебе счастья.

— Ах, Микита, молодешенек ты еще... А я зрю на сие гнездо и думаю: «Тая птица счастливее государя Московского, грешного Василия — у нее птенцы».

Тронул поводья. Гнедой конь, кося диким влажным оком, махом вынес всадника на столбовую дорогу.

— Запечалился державный, — сказал Одоевский остальным дворянам.

— И то правда,— заблеял тонко старый боярин Федор Семенович, князь Прозоровский.— Государыня-то наша Соломонюшка недетородна. Ошибся великий государь, промашку дал.

— Одна дорога княгине-то — густой бас дьяка Петра Гавриловича дошел до слуха Василия Ивановича.— Княгиню в монастырь, а государя на молоденькой оженить.

«Прав дьяк,— раздумался Василий Иванович,— на кого государство оставлю? На братьев? Упаси господи! Какая от них Руси прибыль! Свои уделы в порядке держать не могут, где им, своекорыстным да драчливым, Русью управлять! Погубят распрями да сварами. Соломония честна и чиста, аки голубица небесная, а не милует Господь детьми».

И представилась государю Соломония, с которой прожил двадцать лет. Высокая, дородная, коса русая густая под кику упрятана, глаза добрые серые, голос приятен, тело нежное, ни едина прыщика... «Тьфу, о чем мыслю!» Признавал в душе женины достоинства и все же чувствовал: не лежит его плоть к ней неистово, равнодушен он к ее добродетелям, не сушит перезрелая красота Соломонии его сердце. Третьего дни она к нему припала всем телом, раскраснелась, ласкала в опочивальне, а он был холоден и даже упрекнул:

— Ты мне жена законная, не полюбовница, почто такое творишь? — сам знал — обида сие, но удержаться от слов поносных не мог.

Так в тяжелых думах доехал до Кремля.

Всегда государь любовался Кремлем. Поклон истовый батюшке, покойному Ивану Васильевичу — много сделал для благолепия кремлевского. Матушка, Софья Фоминишна Палеолог,— чать кровей византийских, цезарских, для нее, да и не только для нее — для Руси прославления старался. После того как ханскую поганую басму истоптал, писаться стал в грамотах не Иваном князем Великим, а «Иоанном божьей милостью государем всея Руси». Он же, Василий, сей титул увеличил — «государь и самодержец», да еще приписывали в грамотах иноземным королям «Великий князь Владимирский и Московский и Новгородский и Псковский и Тверской и Пермский и Югорский и иных...».

Кремль сверкающий, единый на всю вселенную! Сколько знаемых мастеров выписал батюшка-государь из Италии, да и свои не хуже были. Успенский новый собор! Да разве где сыщется такая красота? Грановитая палата — только в сказках о ней сказывать. А каменный государев дворец заместо хором деревянных... Всё батюшкино! Веленье и раченье, забота о величии государства Московского.

В мягком кресле перед оконцем сидела Соломония Юрьевна, рожденная Сабурова. Ожидая мужа, прибралась, надела на шею монисто, не так чтоб дорогое — изумрудное. Оно нравилось Василию Ивановичу. Протерла лицо чудодейственной венецианской мазью, подчернила и без того густые соболиные брови и облеклась в тяжелое, вышитое всяким узорочьем платье.

Сидела пышная, красивая, как богиня.

Соломония Юрьевна не теряла еще надежды стать матерью, надеялась, тоскуя и плача по ночам, на божье милосердие. До чего надеялась, до чего верила, уму непостижимо. Какие только снадобья не употребляла, скольким чародейкам да бабкам-знахаркам злата-серебра передала.

И теперь мечтала: придет государь, увидит ее веселую — не надобно, чтобы глаза на мокром месте были, надо обиды и поносные мужнины речи забыть,— пусть Василий Иванович зрит ее, аки розу цветущую.

Сына бы ей, сына! Кажись, всё бы отдала, на муки страшные пошла, сына ей, сына!

Сенные боярышни входили к великой княгине с принижением, кланялись, улыбались: «Не прикажешь ли чего, великая государыня?» Не отвечала Соломония, только наклоняла голову чуть-чуть, так, чтоб не обиделись.

На стене заморские часы с музыкальным боем, дуке миланский подарил, под ногами мягкий ковер, царя бухарского посол привез. В углу киот: благостные лики святителей в драгоценных ризах и неугасимая лампадка перед ними.

В соседнем покое девичий смех, веселость. Там на пяльцах девицы вышивают золотом и шелком платы для украшения великокняжеского и церковного, и рисунки разнятся: для дворцового обихода — львы и единороги, сирины и лебеди, для митрополита — листья, цветы лилейные, знаменующие невинность и помыслы светлые, и голубь, птица небесная с масличной ветвью в клюве.

Сидит у оконца Соломония Юрьевна, вида не показывает, что волнуется. Глядит — въехала в Кремль государева охота, лай собак, конское ржанье. «Зайдет ли ко мне Василий? — руки в тоске сжала.— Зайдет?»

Боярышни к оконцам подбежали — государь с удачей прибыл! — и зашушукались.

— Балясы-то бросьте,— сердито сказала Соломония Юрьевна, — не верещите, сороки!

Девицы замолкли и снова за пяльцы.

Заиграла музыка в часах. Прибежала Домна Егоровна — постельничая, ей за семьдесят, а еще проворная.

— Матушка княгиня, до тя Василий Иванович. Туритесь, девы, отселя,— и княгине на ухо. — Смутный чего-й-то государь, хмурый.

— Хмурый? — брови подняла.

— Как есть хмурый. Исподлобья очами зыркает.— Постельничей хотелось еще поговорить с княгиней, но в покой вошел государь.

— Брысь, Домна,— сказал строго.

— Я тебе, Василий Иванович, не кощенка, ты мал ребенок был, а я тя пестовала. Софья Фоминишна завсегда...

— Ну-ну, иди, нянька, иди,—подтолкнул ее к двери великий князь, подтолкнул не зло, и это поняла старуха.

— Ладно-ть.— И тихонько дверь притворила за собой.

— Прости, Соломония Юрьевна,— сел на лавку.— Должен правду горькую сказать. Прожили вместе двадцать годков, упрекать тя не могу, супруга ты верная, заботливая, не вем по чьей вине, может, по твоей, может, по моей не даровал нам бог счастья в детях.

Соломония молчала, побледнела, сдерживала крик в сердце.

И опять заиграла музыка в часах.

— Буду с тобой, государыня, говорить о делах больших. Русскую державу блаженной памяти отец мой Иван Васильевич Третий аки едину державу утвердил, у княжат удельных крылья-то пообрезал, на кого яз оставлю Русь? Наследника нет.

— Василюшка! Авось услышит наши молитвы...

— Никак ждать нельзя, к пятому десятку приближаюсь... Жаль, Соломонюшка, но ничего не поделаешь, надобно тебе монашеский куколь надеть, постричься от мира в монастырь.

— Нет, не будет того... Не хочу в келью, в затвор... Не могу, Василий Иванович, беззакония творить.

— Ты не бойся, княгиня, на прокорм отпущу деревеньки.

— Не вздену черный куколь, Василий, так и знай.

— Завтра с боярами совет держать буду, а пока прощевай, подумай, княгиня.

Встал с лавки суровый, беспощадный, никогда таким его не видела. Когда осталась одна, запричитала деревенской бабой:

— Матушка родненькая, на кого ты меня, сироту, оставила, на кого?..

На Совете о пострижении в иночество Соломонии Юрьевны Сабуровой до прихода государя хай стоял превеликий. Замолкли, когда пришел Василий Третий и зачал, пригорюнившись, сетовать боярам:

— Кто моим и Московского царства наследником будет?

Бояре осанисто оглаживали бороды, хмыкали в кулак. Дьяк Петр Устинович Григорьев поднялся и, поклонившись великому князю и боярам, изрек:

— Пресветлый государь и мудрые великородные бояре и окольничии! В святом писании аще изречено: «Неплодную смоковницу посекают и садят младую, дабы воблаговременьи плоды получить».

Митрополит Даниил, человек политичный, счел нужным поддержать государя:

— Твое желание, сыне мой, даровать державе наследника похвально. Княгиню Соломонию, ежели добром ангельский чин не воспримет, укажу постричь в Суздальский Покрова девичий монастырь.

Окольничий Иван Юрьевич Шигона-Поджогин, любимец великого князя, воскликнул:

— Послушай, государь, совета владыки Даниила. Поручи мне сие, доставлю княгиню в Суздаль без промашки.

Многие бояре закивали бородами:

— Сослужи, Иване, службу государю.

Были несогласные: Соломония принадлежала к московскому роду Сабуровых, бывшими в свойстве с другими знатными семьями.

Седой полководец, не раз побеждавший татарские полчища, князь Симеон Курбский осудил Василия.

— Не гоже, государь,— сказал он, вставая,— не гоже поступаешь. Нету детей, значит, бог не благословил тебя. Может, Соломония Юрьевна тут ни при чём, может, и пошлет вам еще господь чадородие. А владыке Даниилу не след, яко пастырю, благословлять сие непотребство.

— Знай воинский уряд, не мешайся в дела высокие,— митрополит Даниил поднял архиерейский посох.— Помни, воевода, всякому правилу исключение есть.

— Постричь княгиню немедля,— блеял Прозоровский.

— Тобя самого постричь, старого кобеля, давно пора,— шумели родственники Сабуровых.

— Государеву волю сполнить! Постричь Соломонию! — выкрикивали сторонники Шигоны.

Старец Вассиан, всеми уважаемый, крепко стоял за княгиню, но большинство бояр и митрополит пригово-

рили: «Великую княгиню облечь в иноческий чин и сей обряд совершить в Москве в Девичьем монастыре у Рождества богородицы».

Когда бояре расходились, Василий Третий подозвал воеводу Курбского.

— Больно уж ты, Семен, горяч, супротивничаешь зря, остынь. Сдай свое воинство второму воеводе и езжай в вотчину, доколя не вызову.

И, не дожидаясь ответа, повернулся к воеводе спиной, что означало опалу, и все, кто был рядом с князем Симеоном, поспешно от него попятились.

Утром Иван Шигона и трое воинов явились во дворец за княгиней. Постельничая Домна Егоровна укорила их:

— Постыдись, Иване, на государыню, аки на разбойника, с пищалями да саблями наступаешь.

— Волю государя сполняю,— ответил тот и громко: — Собирайся, Соломония Юрьевна, со мной поедешь.

Княгиня вышла в наряде великокняжеском, парчовом. Прибежали сенные девы да боярышни, бросились на колени перед Соломонией Юрьевной, руки целовали. Шигона, низенький, корявый, в походной епанче, зло улыбался:

— Кончайте прощеванье, дальняя дорога княгине выпала, за вас, боярышни, молиться будет.

Домна Егоровна посулила окольничему в тартарары провалиться и, нежно обнимая княгиню, говорила:

— Свет ты мой Соломонюшка, Христос терпел, нам велел. Жива буду — навещу, на дне моря сыщу.

Привезли княгиню в московский Девичий монастырь. Там уже находились митрополит Даниил, игумен Давид, настоятельница Катерина и монахини.

— Подойди, дочь моя,— позвал княгиню с амвона Даниил, держа на протянутых руках монашеский куколь и рясу.— Прими наше благословение и сию иноческую мантию, дабы служила ты Христу единому и за род людской молилась.— И к игумену: — Отче Давид, соверши обряд над княгиней и нареки ей имя София.

Соломония Юрьевна выпрямилась.

— Я согласия не давала на постриг.— Резким движением выхватила из рук митрополита монашескую одежду и отбросила ее в сторону.—Я есьм ваша государыня княгиня великая всея Руси.

К ней подошел Шигона.

— Ты не княгиня великая, а инокиня София,— и ударил Соломонию по щеке.— Смирись, София!

Бил по лицу, смеясь, а Даниил с игуменом, отвернувшись в сторону, о чем-то беседовали, как бы не видя надругательств над княгиней.

— Как ты, холоп, смеешь меня бить?...— и выплюнула на камни храма кровавую слюну.

Шигона отошел, уступив место монахиням, которые стали облачать княгиню. Та больше не сопротивлялась. Стояла с пылающим от побоев лицом. Стояла безмолвная.

Молодая монахиня дрожащим голосом произносила за нее слова отречения от мира, мужа, радостей земных, от всего того, чем жила Соломония. Только когда выводили на паперть, она обернулась к алтарю:

— Накажи, боже, злодеев моих.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Возок ехал под охраною, а на пути в каждой ямской избе знали, что везут в Суздаль неповинную княгиню Московскую, насильно постриженную. И когда возок останавливался для смены и кормёжки лошадей, крестьянки низко кланялись княгине в смиренной черной ряске, клали к ее ногам узелки с простым приношением — калеными яйцами, сушеными грибами, ржаными лепешками.

— Прими, матушка, помолись за нас, грешных.

Шигона и воины разгоняли народ осторожно, с опаскою.

— Расходитесь, православные, неча тут глядеть,— и поталкивали баб.

— Ишь, какой воевода выискался, — неприязненно кричали мужики,— ты наших баб не замай, не то оглоблей по шее огреем.

Сдавая игуменье княгиню, Шигона велел не делать старице Софье поблажки, держать в неукоснительном наблюдении. Прощаясь, повинился:

— Не гневись, мать София, что руку на тебя поднял, велено было смирить, не держи зла.

Когда Шигона с воинами уехали, игуменья и старшие матери с почтением стали ухаживать за Соломонией Юрьевной.

— Матушка государыня,— говорили, провожая ее в большую светлую сухую келью, прибранную чисто,— хранить от невзгод будем, для нас ты государыней и великой княгиней останешься. Неволить ни к посту, ни к церковной службе не станем. Дадим на послуг молоденькую послушницу. Государь Василий Иванович крепко перед тобой виновен.

Этот прием в монастыре смягчил сердце княгини. Благодарила инокинь:

— Не забуду до скончания века, матушка и сестры.

Игуменья Ульяна, умудренная жизненным опытом (и каких только узниц ни посылали в Суздаль — и боярынь, и княжеских вдов и дочерей), отвечала:

— Государыня, обитель наша не богата, живем только милостыней да трудами. Есть деревушки по завещаниям благодетелей приписные, да ныне крестьяне-то не больно трудятся для монастыря, все норовят боком. И на твои милости надеемся, не оставят тебя родичи Сабуровы, да и государь пожалует сироту.

За монастырскими стенами, ежели подняться на звонницу, видны леса, деревеньки, озера. В обители спокойно, умиротворяюще. По утрам призывно звонили колокола и к храму из келий тянулись черные фигурки.

Через месяц на дворцовых лошадях приехала из Москвы постельничая Домна Егоровна под охраною вооруженных холопов.

— К тебе касатка, к твоей святыне,— обнимала Соломонию Юрьевну.— Кланяться буду игуменье, приняли бы в иночество, стара сделалась, государь отпустил, десять рублев пожертвовал, матери игуменье за тя пятьдесят рублев, да поминки прислал: стерлядей вяленых, медку кадочку, мучки на пироги.

— Благодарствую великому князю Василию Ивановичу,— склонила голову в черном клобуке.

До чего ж еще привлекательна княгиня, и монашеский убор не скрывал, а только подчеркивал гордую красоту ее.

Игуменья охотно согласилась принять в обитель Домну Егоровну: старуха и вклад внесла сто рублев — сумма немалая, да десять рублев за келью. Накопила постельничая за полвека дворцовой службы.

Рассказывала вечерком. Сидели в приветливой келье княгини и пили вкусный монастырский ягодный квас.

— Василий-то Иванович, не гляди, что седой, к свадьбе готовится. Жену-то в монастырь, а сам, грешник, к юной деве, ей, поди, есть ли шестнадцать.

— Из каких невеста? — вся привязанность к Василию перегорела за эти недели, и спрашивала спокойно, как о постороннем человеке.

— Из вельможных, литовских, Глинских.

— Князь Василия Глинского дочка?

— Угадала, матушка, Василия Львовича, Елена. Дядя ейный Михаил Львович за измену под стражей. То он к Москве привержен, то к крулю Литовскому.

— Знатная фамилия, род большой, богатый, да у Василия годы неподходящие.

— Говорено было государю — дитя невеста, а он словно белены объелся, больно уж прельстительна княжна Елена. Бороду сбрил в угоду княжне.

— Нянька, под великое заклятье тебе открою.

— Не пугай, касатка,— спокойно сказала Домна Егоровна,— сказывай без боязни.

— Кажись, Егоровна, я не порожняя, кажись, помиловал меня господь.

Домна Егоровна вскочила, ровно молодая.

— Ой, что говоришь, княгиня, не может этого быть!

— Может, постельничая, знаешь? — и она, покраснев, что-то шепнула ей на ухо.

Та перекрестилась:

— Береги себя, доченька, матери игуменье Ульяне скажись, она не выдаст.

Подумала княгиня.

— Ин, права ты, скажусь настоятельнице.

И с той поры просветлела лицом Соломония Юрьевна, и походка у нее стала плавной, лебединой стала походка.

В сентябре 7035 года от сотворения мира (в 1526) из Москвы прибыл дворцовый подьячий Ивашка Боков с государевой грамотой:

«Се яз Князь Великий Василий Иванович всея Руси пожаловал есьми старицу Софью в Суздале своим селом Вышеславским с деревнями и с починки. А после ее живота то село Вышеславское в Дом Пречистые Покрова Святой Богородицы».

Обрадовались сему дару игуменьи и сестры, еще бы! Село Вышеславское считалось среди великокняжеских вотчин хорошим, доходным. Мужики там были крепкие, в каждом доме коровы, лошадь, овцы, птица да еще ульи. Монахини пуще прежнего стали беречь княгиню. Наловят мужики рыбки в озере — первую миску наваристой ушицы княгине, белых грибов на сковородке — кому? — княгине.

А великий князь Василий Иванович забыл обо всем, кроме обожаемой княжны Елены Васильевны Глинской. Обижались московские и иных городов бояре, дворяне, почетные торговые гости. Разве не снабдил господь красотою наших дщерей? Кровей русских, покорных мужней воле, несвоенравных, степенных. Осуждая Василия Ивановича за второй брак, самым главным проступком великого князя считали нерусское происхождение невесты. Будь невеста из своего московского рода, особых разговоров не получилось бы, приняли беспрекословно.

Княжна Елена не смущалась московскими сплетнями. «Пускай мовят, то мне не остуда»,— говорила она. Воспитанная по-западному, Елена не стеснялась разговаривать со старшими. Узнав от отца о сватовстве пожилого великого князя, она, как умная девица, мечтавшая занять видное место среди московской знати, согласилась стать его женой.

Когда Василий Иванович приехал к Глинскому, княжна Елена, вопреки правилам, вышла к гостю и смело взяла его за руку:

— Пан-государь, прослышав про твое сватанье, я бардзо обрадовалась. Быть супругой такого преславного князя — честь большая!

— Спаси тя, Елена Васильевна,— обрадовался же-

них,— люба ты мне.— И, сняв с пальца золотое кольцо с сапфиром, передал его невесте.

Свадьбу играли несколько дней, пышную, с угощением знатным. Жених и невеста шли к венчанью по бархату и соболям. Митрополит Даниил подал им по стеклянному кубку вина заморского. Выпив вино, муж бросил кубок на пол и растоптал его.

Когда молодые шли в сенник (спальню), дружка взял жареного петуха, обернул его в скатерть, боярыня — жена тысяцкого — осыпала новобрачных хмелем, и кормили государя и государыню петушиным мясом. Голову петушиную дали Василию, а шею Елене — ибо, куда повернет голову муж, туда же и шея женина тянется. Постель новобрачным стлали на двадцати семи ржаных снопах. Государев конюший с обнаженной саблею на жеребце всю ночь под окнами охранял покой молодых.

В свадьбу кормили московский люд, всюду столы с брагой, медом, оловянные блюда с жареной рыбой, мясом, бойкие поварихи пекли блины на конопляном масле. Нищим и калекам раздавали щедрую денежную милостыню. Наемным полкам, в которых служили немцы и литовцы, поставили бочки вина и пива. Десятки возов калачей и пирогов развезли по тюрьмам.

На улицах плясали скоморохи с медведями, рожечники и ложкари в кружалах радовали пьяных музыкой и прибаутками, а веселые звонари до того надрывались, что в церкви Николы Явленного от усердия оторвали у колокола язык.

Веселилась Москва на даровщину: не часто приходилось жителям обжираться и упиваться так до беспамятства. Но, конечно, не обошлось без драк и убийства. Что тут поделаешь — свадьба государева!

Москва при Василии Третьем была обширна: окрестные монастыри с церквами, разноцветные маковки колоколен, слободы, где жили ремесленники, пашни и луга, сады и рощи, мельницы на Яузе, Неглинная, как озеро, дававшая воду кремлевским рвам,— все внушительно и впечатляюще.

Собственно городом считался Кремль, окруженный каменными белыми стенами, где жили государь, мит-

рополит, бояре, служилые дворяне. В обнесенном посаде помещался гостиный двор — торговые лавки, жили здесь купцы. Зимой зерно, мясо, дрова, лес, сено продавали на Москве-реке. Жителей по переписи 1520 года насчитывалось более ста тысяч, а домов сорок одна тысяча пятьсот.

По ночам на улицах ставились заставы, коими ведали пристава, и ходить жители могли только по особой необходимости и обязательно с фонарями. Чтобы избежать пьяных драк, ограблений и убийств, был издан строгий указ: пить хмельное разрешалось только в праздники, исключение делалось для иностранных солдат, служивших в рейтарских полках. Полки размещались за Москвою-рекою, и слобода называлась Налейками от слова «наливай».

На торжищах многолюдно: тут и ремесленники со звонкими глиняными горшками, деревянными бочками, корытами, поставцами, на холстинах — серпы, косы, ножи; в наспех построенных лавках восточные купцы заманивали покупателей цветастыми шелками и бархатом, серебряными ковшами и чарами, отделанными серебром, саблями и кинжалами.

Бояре, окольничие, дворяне, жильцы, боярские дети и дьяки сохраняли между собой ступенчатую разницу. На высшей ступени возвышались бояре и воеводы из удельных княжеских родов и исконные московские бояре, записанные в бархатную родословную книгу. Держались родовито и спесиво: простой дворянин или подьячий при виде боярина загодя снимал шапку и уступал дорогу. Между собой именитые держались вежливо, гостеприимно, кланялись друг другу, угощались романеей, и хозяин провожал гостя, равного себе, до порога, высшего — до крыльца и усаживал в рыдван. Свою семью боярин держал в строгости. Женщины редко показывались на улице, сидели в теремах, занимались всяким рукоделием, а развлечение для боярышень одно — качели в саду.

Стародавние обычаи: так, мол, от дедов повелось, не нами заведено.

И потому родовитые с опаской смотрели на тех, кто мыслил не так, как они, боялись пришлых ученых и богословов: кто их знает, кто их знает—лучше с ними не будет, а хуже — наверное.

При Василии Ивановиче пригласили с Афонской горы для перевода с греческого на славянский рукописных книг ученого монаха Максима Грека, получившего образование во Флоренции и в Париже. Сам государь беседовал с Максимом Греком, прислушивался к его советам, приобретал с его помощью рукописные книги для великокняжеской библиотеки.

Келья старца Максима в Симоновом монастыре превратилась в место встреч знатных лиц: беседовали с ученым монахом, спорили, высказывали свои мнения. Среди посетителей выделялся опальный боярин Иван Никитич Берсень-Беклемишев, вельможа уже в годах, ревнитель старых правил *.

— Господин Иван,— спрашивал Максим Берсеня,— за что князь великий такого разумного человека не жалует?

— По грехам моим, обговоры пришли на меня,— говорил встречи (противоречил) великому князю о Смоленску. Князь великий того не полюбил да молвил: «Пойди, смерд, прочь, не надобен ми еси».

Берсень с удовольствием вспоминал, как хорошо было до приезда греков в Москву, тогда Иван Третий был «до людей ласков, а нынешний государь людей мало жалует. А как пришла сюда мати великого князя Софья с вашими греками, ино земля наша заметалася: а дотоле земля наша русская жила в тишине и в миру».

Максим, обиженный за греков, возразил в защиту Софьи, что она «по отце царьский род, а по матери великого дукуса (герцога) Феррарийского».

Берсень упрямо:

— «Какова ни была, а к нашему нестроению пришла... Мы слыхали у разумных людей, которая земля переставливает обычаи свои, и та земля недолго стоит, а здесь у нас старые обычаи князь великий переменил: ныне государь наш, запершись сам-третей, у постели всякие дела делает».

Смелые речи опального вельможи не остались внутри, нашелся доносчик. Максима обвинили в ереси и сослали в далекий тверской монастырь в тюрьму под строгий присмотр, где он провел двадцать два года.

* Сохранились допросные листы разговора между ученым греком и боярином Берсенем.

Сильно прогневался Василий Иванович и на Берсеня. После пыток привезли его (сам уж не мог ходить) на лед Москвы-реки, там на плахе палач отрубил непокорную голову Ивана Никитича. Не пощадили и доносчика. «Доносчику первый кнут»,— гласила старая московская мудрость. Ему палач отрезал язык.

Расходились по домам москвичи, наглядевшись на окровавленную голову Берсеня. Расходились, помалкивая и уясняя житейскую истину: «держи язык за зубами».

Москва, Москва! Старина-матушка. Суд скорый и неправый...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Елена скучала: чинная, размеренная дворцовая жизнь ей не нравилась. Потом попривыкла. Боярышни вышивали шелком, пели длинные протяжные песни. Елена учила их литовским веселым, но ведавшая порядком постельничая боярыня Агафья Прокоповна сухо сказала:

— Государыня молодая, то не московские песни, а ты, чай, великая княгиня всея Руси, не гоже тебе литовские распевать.

Не понимала Елена, как можно спать после обеда, и Агафья Прокоповна снова пеняла:

— Прежние государыни завсегда от обедов опочин держали.

— Пошли, боярышни, в сад на качели,— капризно звала Елена подруг и бежала в сад. Там большие изукрашенные качели взвивались в небо, и Елена взвизгивала от восторга:

— Выше, девы, взвивайте, выше!

Боярыня жаловалась Василию Ивановичу:

— Батюшка-государь, великая княгиня не слушается.

Рассказывала боярыня о проделках Елены, а государь улыбался.

— Ты уж больно строжишь Елену Васильевну, годы ее не наши, не пеняй ей.

— Твоя воля,— кланялась боярыня,— по мне хучь на голове ходи великая княгиня.

— Не забывайся, Агафья, знай свое место.

— Прости, государь.— И постельничая уходила.

Василий Иванович крепко любил Елену. К той, прежней, никогда не испытывал такого страстного чувства. Елена была для него счастьем и жизнью, дочкой и женой желанной.

— Я тебя, Оленушка, все годы ждал, поседел ожидаючи...

Не было, казалось, такой прихоти княгини, которую не исполнил бы Василий Иванович. Когда она со своей половины спускалась по лестнице в государевы покои и, весело смеясь, подбегала к нему, брала в свои ладошки его руки, целовала, он весь светлел, и ежели бы не сидели здесь посторонние, схватил бы ее и поднял аж до потолка. Елена это понимала. Поклонение великого князя ей нравилось. Его ласки были приятны, его доброта трогала. Елена по-своему полюбила Василия Ивановича. По вечерам, когда оставались одни, спрашивала о делах государственных.

— Тебе легче будет, государь, коли мне поведаешь...

Он снисходительно рассказывал, а потом удивлялся, как это столь юная княгиня смело разбирается в делах. Ему нравилось, что Олёна (так он ее звал) не так, как бояре, с оглядкой и витиевато, а просто, кратко излагала свое мнение.

Одно тревожило их — не было наследника.

— Надобно съездить помолить святых угодников — Кирилла Белозерского да Димитрия Прилуцкого, чтобы послали нам чад любезных. Собирайся, Олёна, в путь, в Вологду,— решил Василий Иванович.

Елена обрадовалась, обняла мужа за шею. Уж до чего ей опостылела боярыня Агафья Прокоповна!

Окольничему Ивану Юрьевичу Шигоне-Поджогину пожалован государем боярский чин, но не радовался он, заскучал чего-то новоявленный боярин. Жена Анна Петровна из рода бояр Плещеевых, дебелая, могучего телосложения, дивилась:

— Государем обласкан, Юрьевич, всяк перед тобою шапку ломит, а ты — горюн-горюном, неможется, что ли?

Нет, Шигона был здоров, не мог забыть он, как обидел княгиню Соломонию, как творил расправу. Когда

прощался с ней в Суздале, княгиня так глянула на него, Шигону, что до Москвы не мог он слова вымолвить.

Ведь была Соломония и для него двадцать лет государыней, в праздники ему злату чару подносила. Загрустил Шигона, ночью ворочался на перине, пугая Анну Петровну.

— Окстись, Ваня! Выпей святой водички.

А он думал: «Чего смотрели митрополит и игумен? Ведь при них истязал княгиню! У-у,— грозился, — ох, спасенные души, чтоб вас...»

Молодая великая княгиня не нравилась Шигоне: глазаста, вертлява, суется в государевы дела.

Однажды Елена спросила Шигону:

— Это ты, Иван Юрьевич, прежнюю княгиню мордовал?

— По указу государеву,— сквозь зубы процедил.

— Меня не посмеешь,— улыбнулась Елена Васильевна,— не посмеешь, боярин!

— Коли указ выйдет — посмею, государыня,— прищурил на нее волчий взгляд.

— Не посмеешь, червяк, раздавлю,— и прошла мимо, шурша атласом.

«У-ух! — мысленно заматерился,— ну подожди, паненка, не нашего рода-племени».— И уехал со дворца.

Через год, в день пострижения Соломонии, взяв вооруженного холопа, на конях Шигона поехал в Суздаль. В городе закупил воз лучшей рыбы и послал поминки в Покровский девичий монастырь. Идти в монастырь побоялся: знал — не примет его мать Софья, только охулка получится.

На подворье суздальского протопопа отца Нектария за чарой меда разговорился.

— Чего, отец Протопоп, про старицу Софию говорят?

— Спаси бог, боярин, за неоставление (Шигона пожертвовал Нектарию пять рублев да зимнюю бобровую шапку). — Яз да матушка протопопица многим тебе благодарны, а про старицу Софию только похвальное слышал. С того дни, как ты ее по государеву указу сдал в монастырь, многое, ох, свет боярин, многое, по тайности грят, переменилося.

— Скажи, отец Нектарий,—у Шигоны даже голос задрожал,— скажи, яви такую милость.

Протопоп молчал.

— Возьми дукат золотой,— боярин вынул из бисерной кисы увесистую золотую монету.

— Не выдашь мя, Иван Юрьевич?

— Вот те крест,— истово сотворил крестное знамение Шигона.— Пытать зачнут — промолчу.

— Так слушай! — отец Нектарий положил дукат в карман рясы.— Велика милость божия к княгине. Вы там в Москве ее в монахини, а она уже тогда зачала наследника от государя.

— Да брешешь, поди, поп! — воскликнул Шигона.

— Собака брешет, а не я.

— Прости, батюшка, сказывай дальше.

— Чего сказывать? — Нектарий зело обиделся.— Ты у кобеля цепного спроси.

— Прощения прошу,— боярин снова вытащил кису, достал серебряную монету и положил на столешницу.

— Ин, ладно. Княгиня о сем только игуменье да старухе постельничей, что живет в монастыре, открылась. Конечно, потом и другие узнали: и манатейные, и рясофорные. Родился у Соломонии Юрьевны робятенок мужска пола, и в святом крещении наречен Георгием. И молвила княгиня: «Тайно воспитаю дитя свое, придет час — и явится он в могуществе и славе» *.

— И где сей младенец? — заволновался Шигона.— Еще золота дам, скажи. Не для худого выспрашиваю, а для доброго.

— Разрази меня гром, не вем, боярин, да разве кто скажет?

В Москве Иван Юрьевич молчал, таился.

Шли месяцы, а молодая государыня была бездетна. «Бог наказывает,— шептались между собой москвичи,— согрешил государь». И однажды наедине с Ва-

* Это предание было настолько распространенным, что о рождении сына у Соломонии упоминалось у современников-иностранцев (Павел Нивий) и у нас в Никоновой летописи. Предание повторил в «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзин. Историк профессор Н. И. Костомаров даже написал историческую повесть о старшем сыне Василия Третьего «Кудеяр». Сама Соломония скончалась в 1542 году и похоронена на монастырском кладбище.

силием Третьим Шигона недомолвками проговорился о рождении у Соломонии сына. Василий Иванович схватил за шелковую рубаху боярина:

— Замолкни, окаянный, того быть не может! Не возлюбили вы Олёну и всякие небылицы по Москве разносите. А чтоб ты помолчал... Жильцы! — вошли трое молодцов.

— Что прикажешь, государь? — поклонились.

— Возьмите боярина, окуйте железом да в тюрьму.

Долго не мог успокоиться Василий Иванович. Только, когда спустилась к нему Елена, вздохнул тяжело: «Радость ты моя, единственная».

Государев поезд шествовал медленно, чинно. Впереди на белых конях дворцовые жильцы с алебардами и пищалями. За ними тяжелый рыдван, запряженный соловой масти конями,— в нем восседала великокняжеская чета. За рыдваном тянулся длинный обоз с челядью, припасами, дарами для монастырей, в двух крытых кибитках — боярин Тимофей Петрович Куракин, дьяк Семен Степанович Воронцов, подьячий Михаил Венюков и дворцовый поп Гаврила. Поезд замыкал отряд из двадцати воинов.

Останавливались с ночёвками. В Троице служили молебен у раки преподобного Сергея Радонежского, отдыхали в Ростове Великом и Ярославле. Наконец приблизились к Вологде.

Василий Иванович устал, растрясло от поездки и июльской жары: дождей выпадало мало, сушь, пыль— тягота, да и только. Молодая княгиня дорогу переносила легко, любопытствовала. Выспрашивала мужа про города, про обычаи.

— Вот, Олёна, в Вологде батюшка Иван Васильевич с дедом-государем проживали, когда богомерзкий Шемяка, ослепив деда Василия Васильевича, дал ему сей град в удел. Отсюда дед государев, благословясь у Кирилла Чудотворца, зачал свой поход на Москву,— рассказывал Василий Иванович.— Дед завещал Вологду младшему сыну Ондрею, а тот передал моему батюшке Ивану Васильевичу.

Елена слушала внимательно, благодарила, целовала руку.

В Вологде все было приуготовлено к пышной встрече великого князя. Съехалось духовенство, купечество, окрестные помещики. Всюду: и в городе, и в подгородном Спасо-Прилуцком монастыре — чистота и благолепие.

Московские государи дорожили Вологдой — ровесницей Москвы. Основали ее выходцы из пределов новгородских, отсюда в давние времена неуемные вологжане открыли путь к сокровищам Заволочья, путь к морю-океану, где в несметном количестве водился ценный морской зверь. В пятнадцатом веке Вологда от новгородцев перешла к Москве, а свою верность единому великому княжеству Русскому доказала и на поле Куликовом, и в годы мятежа удельного князя Дмитрия Шемяки. В тысяча четыреста шестьдесят третьем году Иван Третий посетил город и повелел расчистить и устроить дорогу от Ярославля до Вологды. В следующем году по вновь устроенной дороге в Двинскую землю, что принадлежала Новгороду Великому, прошли московские полки воеводы Бориса Слепца для покорения гордого вольного города. А сколько воинов-вологжан участвовало в казанских и литовских походах — не перечтешь!

— Сюда батюшка-государь,— вспоминал Василий Иванович,— сослал на поселение царя казанского Алегама. Знаешь, Оленушка, сколько жен у него было? Пятнадцать привез.

— Справлялся како с ними? — смеялась Елена,— аль кого на помощь звал?

— Не моги тако шутить, Олена, разве кто посягнет на царскую жену?

— Бедные,— посочувствовала княгиня,— постились!

Государь повеселел:

— Не гоже молвишь, Олена, да уж бог тебя простит, юна еще.

— Только с тобой, Василий, так, не бойся — перед другими сан не уроню,— сказала, целуя в плечо государя.

Вологда — большой купеческий торговый город — ограждена крепкой бревенчатой стеной. Центром была Ленивая площадка, где шел торг, от нее отходили два посада — Верхний и Нижний, а за рекой — Заречный.

Дома воеводы, дьяка, купцов, богатых горожан были высокие рубленые, отличались они от изб посадских бо́льшими размерами да затейливой резьбой наличников и фасадов. Соборный храм Воскресения также был построен из вековых деревьев. В нем усыпальница первого строителя храма — киево-печерского инока Герасима, от которого и ведет летоисчисление Вологда. Посадские люди жили в избах, которые топились по-черному. За избами посадских раскинулись огороды и пашни — население занималось промыслами и подсобным земледелием.

Встречала Вологда Василия Ивановича колокольным звоном, народ кланялся до земли, соборный протодьякон, аки труба архангельская, возгласил многолетие, а в хоромах у воеводы столы ломились от яств.

На другой день государь и государыня пешими свершили хождение на богомолье в Спасо-Прилуцкий монастырь. Молились умиленно у надгробия преподобного Дмитрия, щедро одарили монастырь и деньгами, и утварью. При выходе из собора подошел к великому князю монах, высокий, худой с изможденным лицом. Был он в холстинном подряснике с выцветшей скуфейкой на голове.

— Здравствуй, государь пресветлый, аль не узнал?

— Неужто князь Иван? — тихо спросил Василий.

— Яз есьм былой князь Иван.

Это был внук Василия Темного, сын удельного князя Андрея Угличского, постриженный в монахи.

— О чем просишь, князь?

— Иноку ничего не надобно, не о себе пекусь. Яз вскоре пред ликом всевышнего предстану, о брате Митрии печалуюсь. Немочен и болен он, с младых лет сколь годов, почитай, в цепях и сырости. Помилуй, государь,— голос монаха дрогнул,— заставь за себя богу молить.

Василий Иванович не ответил, посуровел. Монаха воины в толчки — не мешай князю великому. А княгиня мужу:

— Василий, государь мой, желаю зреть того Митрия.

И они в низкой тюрьме. Одно оконце слюдяное в потолке, на полу солома, в углу кирпичная печь и поганый ушат. На деревянных полатях бараний тулуп. Сидит сутулый пожилой человек. На вбитом в землю столе — глиняная кружка, деревянная солонка и на оловянном блюде горбушка черствого хлеба.

Человек оброс волосами, серые пряди свисают на лоб, на горбатый нос, борода длинная клином. На нем серая ветхая холщовая рубаха, грязный, заляпанный кафтан, лапти. Человек окован в железо по рукам и ногам. Цепь прикреплена к кольцу в стене. Можно ходить, звеня цепью, по темной каморе.

Когда вошли Василий Иванович и Елена в сопровождении городского пристава, ведавшего тюрьмой, человек даже не поднял головы.

— Митрий,— крикнул пристав,— встань перед государем и государыней и прими от них милостыню.

Он выложил из плетенки на столешницу каравай пшеничного хлеба, мед в туесе, жареную рыбу и пучок зеленого луку.

Человек посмотрел на гостей, не вставая с полатей. И тут Елена тихо заплакала: глаза узника пронзили ее душу. Какие это были глаза! Удивительно прозрачные, неимоверной голубизны и доброты. Тихо и ласково ответил:

— Не кричи, господин пристав, яз немощен, железа тяжелы, ноги опухли...

— Князь Митрий Андреич, на что печалуешься?

— Сам зришь, государь,— и посмотрел на плачущую Елену.— Будь здорова, княгиня молодая.

Елене сделалось плохо, ее вывели из темницы.

— Государь мой, облегчи князю участь.

— Не могу, Олена. Батюшка мой князя еще безусым отроком заключил. Он наследник Угличский, смуту бы сеял. Для государя Ивана Васильевича земля русская, вотчина дороже единокровных была.

— Государь мой, он еще отрок был невинный...

— Подрос бы. Нет, не нарушу, Олена, волю отца моего. — И к почтительно стоявшим приставу и подьячему: — Одежу Митрию новую смените, кормите лучше.

Смутна ехала с государем Елена. Ничего не хотелось.

А на улице — солнце, зелень, радость.

После Вологды поплыли на дощаниках по Кубенскому озеру мимо Спасо-Каменного к Сиверскому бурному. Там большой благоустроенный Кирилло-Белозерский монастырь, владевший рыбными и соляными промыслами и десятками деревень. Кроме храмов, настоятельского и келарского корпусов монашеских келий, были тюремные, где содержались заточники: бояре, княжата, духовные пастыри. В самых худших условиях находились еретики, смутьяны, богохульники, закованные в железа в кельях, где едва можно было шевельнуться.

Василий и Елена заказывали молебны, ставили свечи перед ликами чудотворцев, оделяли милостыней нищих и калек убогих, что питались монастырскими объедками и посильно работали на монастырь. К заточникам Василий Иванович не заходил, подал отцу келарю изрядную толику серебра. Велел в течение года кормить заточников кроме хлеба соленой рыбкою, пареной репой и луком, дабы молили они преподобного Кирилла о даровании княгине сына.

Побывали и в Ферапонтовом монастыре. Елену обитель приковала тишиною, местоположением у голубых озер и чарами каменного храма Рождества Богородицы. Храмы и палаты в Ферапонтове спокойные, домовитые, и сны приходили к Елене добрые, детские.

Ах, росписи храма Рождества! Писал их знаемый царский изограф Дионисий на склоне лет, помогали сыны Владимир и Феодосий. Сии росписи, кои должны люди именовать животворящими, ибо и в летописи сказано, что сей Дионисий не только искусный изограф, но и живописец великий. Краски сыновья и Дионисий терли из местных цветных камушков, что находил старик у озера.

...Голубые и золотисто-охристые тона, пурпурные и коричневые одеяния, изумруд райских кущ. Она — мать всех скорбящих,— дева Мария, помощница и покровительница сирых и обидимых, таких, как несчастный князь Дмитрий с прозрачными глазами, излучающими смирение и доброту.

Елена глядела на фрески.

Глядела пристально. Вздыхала...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Три года ждала Елена рождения сына. Молилась, постилась. Зимою, перед самым Рождеством Христовым, снова ездили в Вологду и к преподобному Кириллу, богатые поминки давали, а праздник справили в Вологде на обратном пути. Заточнику князю Митрию теплую шубу пожертвовали, но к нему Елену Василий Иванович не пустил.

Бояре осмелели, явно намекали великому князю, чтобы он оставил литвинку и взял себе в жены русскую боярышню. Дядя Елены, старый князь Михаил Глинский, возвращенный из ссылки и ставший ближним советником государя, утешал племянницу:

— Тебе еще девятнадцать, не одного, а трех молодцов государю принесешь, не печалься.

И действительно, свершилось то, чего так ожидал Василий Иванович,— Елена забеременела. Ее окружили заботами, уходом небывалым. Сам государь ежечасно:

— Како чувствуешь себя, Оленушка? Чего желаешь?

Она таинственно молчала, прислушиваясь к тому, что зрело в ее чреве.

Однажды захотелось побаловаться на качелях, уговорила боярышень пойти в сад, не сказывая Агафье Прокоповне. Раскачали Елену девы. Под небеса, голова аж закружилась.

— Ох, девы, тошнехонько мне!

Прибежала Агафья, испугалась, задрожала:

— Что деется на белом свете! Что вы, поганые девки, нечестивые! Кто надумал? Ужо будет вам!

Качели остановили, Елену в обмороке отнесли в опочивальню, призвали государева лекаря немчина Николая Люева. Тот дал княгине понюхать из флакона, она открыла глаза.

— Ваша княжеская милость, вам надо беречься! Упали бы вы с качелей и повредили бы жизнь будущего венценосца, да и сами бы разбились.

Великий князь выговаривал жене:

— Меня пожалей, Олена! На потребу державе должна родить. Ой, Олена, больно уж ласков я с тобою, ей-ей,— а сам чуть не плакал.

— Не гневись, государь мой, сие не повторится.

Погладил ее по лицу.

— Нужна ты мне, Олена, пуще солнышка ясного.

В ожидании родов выспрашивал юродивых, кого бог пошлет княгине. Привели однажды московского юродивого Домитиана, обладавшего даром предвиденья. Старик грязный, в лохмотьях, вшивый.

— Скажи, божий человек, не утаи.

Юрод сел на ковер, всплеснул руками.

— Родит тебе государыня сына Тита, большого ума...

— Кто такой Тит,— спросили старика.

— Родится, тогда и узнаешь. Кому плясать вскачь, а кому хучь плачь, кому в лоб, кому в гроб.

Юроду принесли калачи, он засунул их за пазуху. На кремлевском дворе кормил ими голубей и воробьев, кормил и плакал. Отчего плакал, видно, и сам не знал.

Тысяча пятьсот тридцатый год был для Василия Ивановича счастливым. Московские полки отразили нападение стотысячного войска казанских татар. Татары часто доходили до Мурома, Мещеры, Владимира, Кинешмы, Галича. Их шайки бродили в окрестностях Тотьмы, Великого Устюга и Вологды. Летописец с ужасом сообщает: «Казанцы лили кровь христиан, как воду. Селения и монастыри обратили в пепел, сыпали горячие уголья в сапоги инокам и заставляли их плясать, оскверняли юных монахинь. Кого не брали в плен — тем выкалывали глаза, обрезывали уши, нос, отсекали руки и ноги» (Казанская летопись).

Московские полки в июле под начальством воевод Ивана Бельского, Михаила Глинского, гоня татарские полчища, подошли к Казани, подожгли острог, взяли предместья. Татары потеряли в кровопролитном сражении за ночь почти шестьдесят тысяч воинов. Казань могла быть взята, но главный воевода Иван Бельский, приняв в своем шатре просивших мира татарских князей и мурз, снял осаду. Глинский обвинял Бельского в том, что он получил «хабар». Татарские послы с дарами явились и в Москву, клянясь, что они будут повиноваться Руси и изберут царя, угодного Василию.

Государь объявил опалу Бельскому, но вскоре смягчился: ждал рождения наследника. Прежнего царя Сафа-Гирея свергли с престола и посадили пятнадцатилетнего князя Енелая, которого объявил царем посланный в Казань Василием Третьим окольничий Морозов.

В тот августовский вечер небо над Москвой затянуло черными тучами, заветрило, загрохотало, замолнило, а во дворце — суета, волнение. Затеплили бесчисленные красные восковые свечи перед образами, открыли царские врата в Успенском соборе... Великая княгиня рожала, кричала от неистовой боли.

— Ничего, матушка, ты стонай, полегчает,— советовала Агафья Прокоповна.

У окна лекарка Варвара крестилась от каждого удара грома, от прорезывающих небо ярких молний.

— Спаси и помилуй, владычица небесная.

В семь часов вечера двадцать пятого августа тысяча пятьсот тридцатого года раздался крик ребенка и повитуха подняла на руках мокрое тельце младенца, коему была суждена великая будущность.

— Государь, поздравляю с наследником! — провозгласил дворцовый жилец, врываясь в покои великого князя.

— Господи! — как молодой, Василий Иванович затопал сафьяновыми сапожками по лестнице.— Ох, свет мой, Оленушка, радость-то какая! — и жильцу:

— Пущай в колокола звонят, молебствуют.

На цыпочках вошел в опочивальню к княгине, подошел к постели, Елена показалась ему девочкой. Закушенные губы алы. Василий Иванович поклонился и поцеловал жену в губы.

— Олена! Дай бог тебе здоровья, счастлив яз, что родила сына,— и тихонько отошел.

Повитуха уже держала перед государем младенца, тот сучил красными ножками и захлебывался в крике.

— Богатырь вырастет,— прошептала Агафья Прокоповна.

Великий князь поцеловал сына в лобик, коснулся пальцами его нежного бархатистого тельца, и неведомое до сих пор, неизмеримо счастливое чувство отцовства затуманило его глаза.

— Сынок,— сказал,— сынок, опора моя и надёжа.

Колокольный звон на Руси, грады и веси как в христов день празднуют, ибо у великого князя, царя и государя, родился первенец — богоданный наследник.

Радуются бояре и дворяне: не будет свары, есть теперь законный царевич-княжич; радуются посадские и крестьяне — им во время княжеской заварухи доставалось больше всех: грабили села, нарушали промыслы, топтали посевы, уводили скот то один, то другой князь; радуются духовенство и монастыри: пожалует государь на рождение сына богатые дары.

Звонят, перекликаются колокола на Руси!

Веселые колокола, заздравные колокола, пьяные колокола!

Веселятся все православные — приказал государь. И сидельцы из царевых кабаков выкатывали на улицу бочки с брагой, пивом, медом — пляши Евстигней, не жалей лаптей!

Послали гонцов в соседние королевства: Литовское, Шведское и Польское. Писались грамоты полным государевым титулом, и печати привешивали большие красные восковые: ведайте, мол,— родился у пресветлого государя Василия Третьего наследник престола, будет кому державу Московскую оборонять.

Отворились и двери тюремные. Отпускались прегрешения ссыльным вельможам, и вышел среди них боярин Иван Юрьевич Шигона-Поджогин. Государь снова дал ему звание дворецкого. (Он служил честно до кончины Василия, а затем отпросился в дальнюю вотчину, чтобы в смирении и молитвах остатний век провести. Перед отъездом Шигона собрал два воза всякого добра и отправил с холопами в Суздальский монастырь инокине Софии, чтобы не поминала его, грешника, злом).

Государь через десять дён повез младенца-наследника к Троице, где игумен Иосаф окрестил княжича Иоанном в честь деда. И на молебствии поминал протодьякон государя Василия, княгиню Елену и княжича наследника Иоанна.

Сентябрь выдался теплым, безветренным, оранжевое золото листьев устилало кремлевские дворы. Елена Васильевна гуляла по саду, а за ней няньки,

мамки, и старшая боярыня несла запеленутого в шелковые простынки Ванюшу.

Великая княгиня была ласкова, не боялась теперь за будущее. Ее недруги-бояре приумолкли, затаились. При встрече кланялись до земли:

— Матушка ты наша, государыня.

Елена вежливо отвечала на приветствия, а сама думала: «Прикажи вам, козлы вонючие, будете передо мною землю бородами мести».

После Казанского похода Василий Иванович отдыхал в тишине и спокойствии, ездил в Волок-Ламский охотиться в тамошних дремучих лесах, полных всякой дичи и зверья. Он был первым московским великим князем, введшим псовую охоту. До него князья признавали только соколиную. И у Василия Ивановича имелись знаменитые кречеты: Гром и Ярь. Кречеты знали хозяйский голос и сидели у него на рукавице под колпачками смирно и важно. Когда он снимал колпачки с глаз кречетов, они вздымались к небу и, делая круги, зорко смотрели вниз, выискивая добычу, а затем, стремительно рассекая воздух, неслись за тетеревом, уткою или лисицею. Но псовая охота имела свою прелесть: звуки охотничьих рогов, рвущиеся на поводках собаки, их призывный заливчатый лай возбуждали, легче дышалось, и пьянила опасная волчья облава, когда злые матерые звери пытались прорвать цепь охотников.

Василий Иванович был доволен жизнью: Елена Васильевна подарила ему еще сына — Юрия. И находясь на охоте или по другим делам в отъезде, он писал в Москву княгине: «Жене моей Олене. Что меня держышь без вести о своем здоровье? Как тобя Бог милует. Да и о Иване сыне отпиши, как его Бог милует». Весь быт княгини и детей занимал великого князя. В другом письме он утешает Елену: «Да писала еси ко мне, что Юрий сын попысался, а в те поры его парили в корыте проскурником, а спуск крепок, черн. Да Бога ради не кручинься, а о всем клади упованье на Бога».

Так безмятежно прошли два года, а затем настали черные дни и для державы, и для великого князя.

Изгнанный из Казани царь Сафа-Гирей подговорил золотом и подарками крымского хана, чтобы он вторгся на Русь, добыл себе славы, а воинам красивых рабынь и крепких мужиков, коих на турецких базарах продавали за хорошие деньги. Особливо нарасхват шли светловолосые девочки для гаремов.

Крымчаки налетели ордой на рязанские пределы, выжгли селения, погнали тысячи пленных в степь. Стояла середина августа тысяча пятьсот тридцать третьего года. Крымский царевич Ислам обложил Рязань и послал часть орды в Зарайск. Василий Третий в Коломне распоряжался действиями русских полков и повелел окрестным жителям, взяв необходимое имущество, спасаться за московскими кремлевскими стенами. У Зарайска воевода Дмитрий Палецкий уничтожил татар, взяв большой полон. Другой воевода — князь Оболенский-Овчина — с полком московских дворян разбил два отряда крымчаков и, преследуя их, наткнулся на всю орду царевича Ислама и Сафа-Гирея. Те, думая, что за москвичами идет сам Василий Третий, сняли осаду Рязани и быстро покинули Русь.

Осталась разоренная рязанская земля. Остались старики и старухи оплакивать уведенных в рабство сыновей и дочерей. Зловещий набег продолжался всего пять дней.

Большое оживление москвичей вызвал приезд посольства из Индии от хана Бабура, потомка Тамерлана, основателя империи великих Моголов. Хан Бабур слышал о Руси, знал, что в ту пору в Индии побывал тверской купец Афанасий Никитин. Индийский посол Хозей Усеин со свитой был любезно принят Василием Ивановичем.

Посол — худощавый, загорелый, черноглазый, с маленькой курчавой бородкой, в богатом шелковом халате с бриллиантовыми пуговицами, в высоком белом тюрбане, усыпанном алмазами. Он поднес государю грамоту от хана, уложенную в золотую шкатулку. Его спутники опустились на колени и сложили к ногам Василия Ивановича, восседавшего на троне, различные подарки: тюки шелка, ковры, золотые и серебряные изделия. Хан Бабур просил великого русского

царя для индийских купцов свободного въезда и торговли с Россией, приглашал московских купцов в Индию, обещая им уважение и поблажки.

Василий Иванович допустил посла к руке и сказал, что рад посольству от индийского царя и разрешает взаимную торговлю. Хану Бабуру отправили поминки соболями и черными лисицами, чтобы знал басурманский царь, чем богата далекая Русь.

Сергиев день 25 сентября великий князь с Еленой и детьми праздновали в Лавре, а оттуда Василий Иванович поехал на охоту, как всегда, в Волок-Ламский. Предчувствие несчастья давило его душу, а с чего? Орда Крымская изгнана, дела домашние хороши, Елена и дети здоровы.

Заяц дорогу перебежал — плохая примета. Дворянин Савва Бакунин пришпорил коня, нагнулся и огрел косого нагайкой. Тот перевернулся, и Савва ухватил его за длинные уши. Заяц пронзительно закричал, закрутился в руках смеющегося Бакунина, заплакал. Василий Иванович велел показать ему косого. Взглянул в подернутые смертельным испугом заячьи глаза.

— Отпусти немедля!

Савва выпустил косого. Зверек, еще не веря в свободу, сидел на пожелтевшей траве и не шевелился. Потом повел ушами, сделал неистовый прыжок и скрылся в лесу.

В селе Озерецком в великокняжеской вотчине Василий Иванович снова не находил себе места от усталости. На улице холодало, затопили печи, повели государя в жаркую баню. В бане государь рассмотрел на теле маленький синий прыщ. «От сего мне кончина,— твердо решил.— Кончина!..» К утру изнемог, покрылся липким потом. Велел врачу Николаю Люеву сопровождать его до Волока и лечить, хотя знал по неоставляющей его сердце кручине — напрасно.

Лечили по-московски: мукой с медом, печеным луком, мазью из подорожника. Ставили горячие горшки на больное место. Чирий воспалился, и открылась ранка, гноя вытекло много, но не полегчало. От еды отказывался. Просил, чтобы поскорей отправили в Москву.

Снегу на дороге прибавилось, падал густо. Везли на санях на постели шагом, чтобы не дай бог не растрясти государя. Он лежал, закутанный в соболя, старался бодриться, а на сердце — печаль. В Москве спросил лекаря:

— Друг Николай, ты давно живешь в Кремле, не обижен нами, поведай без утайки — выживу ли я?

— Государь,— Люев приложил руку к сердцу.— Вы добрый правитель. Вашей милостью я обласкан, живу в достатке, но,— лекарь поднял глаза кверху,— я не Господь Бог.

— Надежды нету?— Василий еле ворочал одубевшим языком.

— Государь, я не Бог...

У постели больного собрались приехавшие из уделов братья и ближние бояре. Ждали. Кто за малолетка царевича править будет? Неужели Елена иноземка?

Василий Иванович лежал с закрытыми глазами, страдал от того, что вот он, пятидесятичетырехлетний в силе муж, оставляет сыновей и двадцатидвухлетнюю вдову... Кто им поможет, кто? Очнулся от забытья. Увидел дьяка у постели.

— Пиши по чину духовную грамоту. Яз завещаю сыну своему Ивану великое княжение, а до его пятнадцати годов правление держать государыне Елене Васильевне по совету с боярами. Сыну Юрию оставляю небольшой удел.

Причастившись у духовника, с помощью слуги приподнялся на постели. Прерывисто дыша, обратился к боярам:

— Вы, наши извечные бояре, служите сыну моему, как мне служили, блюдите крепко Русь, пусть будет над нею правда.

Привели Елену и сыновей. Ивана дрожащей рукой благословил на государство крестом святого Петра митрополита.

Елена была в отчаяньи. Билась головою об пол, рыдала.

— Что будет со мною, несчастной? Кто защита и помощь мне? О мой любый государь, свет лучезарный!..

Ее насильно оторвали от постели мужа.

Вошло духовенство в черных ризах, начался обряд

пострижения в иночество. По ранее высказанному желанию великого князя его постригали в иноки Кирилловского монастыря.

Схиму положили на грудь умирающему.

Когда митрополит и бояре объявили Елене о смерти великого князя, она упала без чувств.

Ударили в большой колокол.

Тело Василия Третьего положили на одр. Растворили все двери. Москвичи устремились в Кремль отдать остатний поклон великому князю. В стряпущих пекли гороховые и ржаные блины со снетками на конопляном масле. Варили пшеничную кутью с изюмом. Заправляли хмелем брагу, чтобы народ православный помянул государя.

Декабрь. Мороз. Вьюга.

Колокола тревожно и горько звонили на Руси.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Кончилось княжение Василия Третьего, начиналось правление Елены Глинской.

Народ выжидал, помалкивал, жалел усопшего великого князя. Трудно бывало при Василии: то шли с войной литовские паны на западе, то с востока налетали татары, то свои помещики садились на крестьянский хребет так, что ни охнуть, ни вздохнуть. И всё же народ знал — есть в великом князе защита от врагов. Блюл землю Русскую Василий Иванович, крепко держал в кулаке князей и бояр, не жалел казны на разоренные войной города и селения, укреплял крепостицами и воинскими заставами границы Московские,— и побаивались его короли иноземные.

А что теперь будет? Государь Иван Четвертый — ребенок, правительница Елена — литвинка, ближние бояре и служилые князья не державу, а свои прибытки чтут, между собой чванятся и ссорятся. Плохо народу, тяжело земле родной, и радость великая врагам ее.

Сумрачна и Елена Васильевна: мать государя и правительница московская поняла, что значит без мужа, без ласки его и заботы жить. Ох, как нужен молодой вдове близкий и умный советник!

Пока же дела московские решала боярская дума: дядя государыни Михаил Глинский, Шуйские, Бельские, Оболенские, Одоевские, старые, ведавшие приказами дьяки. В грамотах писалось: «Князь великий и мати его великая княгиня, посоветовав о том с боляры — повелели...»

Когда несколько успокоилась, стала Елена посещать боярские советы, задавала вопросы, случалось, и покрикивала.

— Высокородные! Надобно головой, а не бородою мыслить!

Не забыла Елена заточника вологодского князя Митрия. Послала в Вологду указ перевести из низкой тюрьмы в Прилуцкий монастырь в чистую келью, железо снять и кормить за ее, правительницы и великой княгини, счет. И в первый раз свободно, всей грудью вздохнул бедный Митрий и сердечно пожелал Елене счастья: «Богу за тя молюся, дабы ты, государыня, горести не чула», — писал князь в Москву.

В боярском совете выделялся умом и молодостью боярин и воевода Иван Телепнев-Оболенский. Двадцативосьмилетний Телепнев, не в пример прочим боярам, искренне служил Елене. Голубоглазый, статный, с вьющимися волосами, он не носил бороды, его шелковистые усы были закручены вверх. И напоминал он Елене западных рыцарей. Кроме того, воевода уже отличился в битвах с татарами и литовцами, государь Василий Иванович пожаловал ему золотую медаль, которую он носил на червонной цепи. Бояре, видя почтительное отношение Телепнева к правительнице, как-то высказали:

— Ты, княже Иван Федорович, мотри, не отбивайся от нашей стаи, к иноземке не подлаживайся, худа бы не случилося!

— За собой глядите, бояре, яз присягу, что покойному государю давал, сполняю и верный слуга правительнице,— и таким яростным взглядом окинул высокородных, что те заелозили.

— Ишь ты, княже нетерпеливый, мы пошутковали, а не всерьез.

— То-то, пошутковали, знаю я вас!

Молодой воевода, не прощаясь, вышел из боярской палаты. Зашел наверх проведать маленького государя.

Иван и Юрий слушали сказку, которую сказывала мамка государева боярыня Агриппина Челяднина.

Боярыня нежно любила своего воспитанника, старалась, чтобы дети были вовремя накормлены, подольше резвились в саду, всегда ходили в чистой, достойной их званию одежде.

Иван Федорович почтительно поздоровался с боярыней — своей старшей сестрой, поцеловал руку Ивана и погладил по голове Юрия.

— Како здравие твое, государь?

— Здорово, князь Иван! — мальчик вложил свои пальцы в ладонь Телепнева.— Нянька сказками тешит. Поведай лучше, как ты с татарским князем Юлаем поединок держал.

Мальчик-государь был не по годам развит. В пять лет он уже читал псалтырь и знал устный счет. Подьячий, учивший государя, удивлялся:

— Скоро с мое знать будешь, Иван Васильевич, наградил господь тебя умом-разумом.

Юрий, на год моложе, был молчалив и скучен, сидел на лавочке и дремал, брата слушался беспрекословно.

— Ну ин, по твоему хотению, государь.— Телепнев весело, с выражением стал рассказывать: — Прет на меня богатырь Юлай-Гасан, ростом — аж с малую колокольню, в шишаке золотом, латы на нем серебряные сверкают, саблю вострую кривую на мя поднял, вопит по-татарски (яз их речь понимаю): «Сдавайся в полон воевода!» Столкнулись конями. «Сам сдавайся, князь»,— кричу ответно. И зачали мы саблями полосоваться...

Мальчик сжал руку Телепневу:

— Опосля что?

Тут вошла Елена Васильевна. Телепнев поднялся с лавки.

— Прости, государыня великая, Ивану Васильевичу про татар сказываю.

— Ой, матушка, помешала ты нам,— с огорчением произнес мальчик, целуя княгиню.

— Хорошо, что застала тебя, Иван Федорович,— ласково обратилась Елена к Телепневу.— Нужен ты мне для совета,— и сыну: — Кой раз тобе, Ванюша, боярин про Юлая-Гасана сказывал.

— Всё одно, матушка, занятно.

— Яз, государь, завтра об Юлае поведаю. Вишь, Елена Васильевна для дела требует,— снова поцеловал руку Ивану и пошел вслед за правительницей.

В покоях государыни жарко, теплятся лампадки перед киотом, ноги утопают в мягком ковре. Елена села на лавку, крытую алым сукном, рядом Телепнева посадила, постельничей наказала:

— Кто до меня будет кучиться, не пускай, скажи — делами государственными занята.

Остались вдвоем.

— Ты, княже, предан мя еси?

— Жизнь за тя, государыня, отдам,— посмотрел ей в глаза зовуще, жгуче,— жизнь за тя отдам.

— Сие не надобно,— прислонилась к нему плечом,— мне твоя услуга нужна, верность твоя и любовь.

— Государыня!— упал на колени и прижался горячим лбом к ее платью,— люба ты мне, да разве бы посмел на тя тако взглянуть?

— А ты, Иване, посмей!— и тихо засмеялась.

Как не прикладывала постельничая ухо к двери, ничего не могла услышать, перекрестилась и плюнула с досады:

— Любодеи, грешники!

Отошла от двери, присела на скамеечку возле изразцовой печи и задремала.

Елена расцвела, похорошела, следила за собою, просиживала у зеркала, у ларца с восточными притираниями. Теперь рядом преданный и любимый до самозабвения человек: умен, мыслит по-государственному, полководец, красив. Одно смущало — гневлив Иван Федорович, злопамятен, особливо на дядю — князя Михаила Львовича Глинского. Твердит Елене:

— Опасайся, государыня, Михаила: царем возомнил, тебе же надо трон беречь для Ванюши, нашего князя великого.

Елена видела: почтительно обращался с сыном Иван Федорович, именовал государем, целовал руку и без приглашения на лавку не садился. Маленький государь привязался к нему не меньше, чем к няньке Агриппине, был доверчив, слушал с удовольствием

рассказы Телепнева. С кажым днем Елена более и более ценила Телепнева, даровала ему высший чин конюшего боярина — второе лицо по дворцовой иерархии после правительницы. Окольничие, дворяне-жильцы, рынды завидовали Ивану Федоровичу, заискивали, ненавидели.

Елена частенько навещала любимца в его кремлевском доме, оставалась ночевать. Холопы Телепнева молчали — князь был щедр. Соглядатаи Шуйских высмотрели-таки, вынюхали ночные встречи правительницы.

— Позорно такое терпеть,— толковали промеж себя члены боярской думы.

Обратились к Михаилу Глинскому.

— Вельможный княже! Не гоже тобе, первенствующему боярину, потакать прихотям Елены Васильевны. Пущай ушлет она Ваньку Телепнева воеводой в Вологду, хучь с глаз долой, из сердца вон.

Михаил Львович тоже так думал. Зашел к племяннице.

— Государыня,— сказал сурово,— не токмо Москва, в соседских государствах ведомо о твоем окаянном житии. В пропасть грядешь, племянница. Воззри на себя, кто злохитровством тебя покорил! Ивашка Телепнев, пес, раб недостойный! Отринь его, сошли в Вологду.

— Ты чего взъерепенился, дядя?— по лицу Елены красные пятна.— Кого смеешь судить? Государыню?

— Постыдись, великая княгиня, воспитал тобя, дочкой была.

— Помолчь, дядя, зрю — под мя подкапываешься и под верного слугу Телепнева.

— Глаза бы на тебя не смотрели, не чтишь память благоверного своего мужа, государя Василия, ложе его осквернила!

Глинский ушел, дверью хлопнул.

— Иван мой,— жаловалась вечером Елена Телепневу,— дядя грозится, велит тобя в Вологду.

— В железо его след, старого злодея. Пойми, Елена Васильевна, нам с ним не ужиться. Повели очи князю Михаилу выжечь, тогда он не опасен.

Правительница промолчала, подумала. Иван Федорович нетерпеливо ждал.

— Что ж, любый, и впрямь, пусть не глядит дядя, исполни.

— Поутру исполню, государыня.

В боярской думе узнали, что князя Глинского в тюрьме ослепили и замучили. Виновником сего назвали Телепнева.

Елена похоронила дядю у Троицы. Двести рублев внесла на вечное поминание раба божьего боярина Михаила.

— Чтоб роду нашему почет был.

Еще страшное, но нужное для державы Московской дело решила правительница. Удельные князья Юрий Дмитровский и Андрей Старицкий — братья государя Василия — числились в боярской думе, но жили в своих уделах и с неодобрением наблюдали за правлением Елены и Телепнева. У князей были дворы с боярами и дьяками, войско-дружина, в князьях текла кровь рюриковичей, а что Елена? Литвинка, гордячка, самовластная царица, блудница. Сидели князья в уделах, копили силы, в Москву — ни ногой. К ним же шли все, недовольные правительницей.

— Надоть их выманить из берлог,— советовал Телепнев Елене.— Напиши, государыня, Юрию Ивановичу душевную грамоту, пригласи на думу боярскую, аки брата своего и дядю великого князя.

Написали. Послали с окольничим князем Федором Одоевским в Дмитров. Одоевский лисой к Юрию и его боярам:

— Государь Иван Васильевич и княгиня великая Елена ждут не дождутся дядю родного и брата названного, приветливо встретят, чтобы совет с ним держать и на пиру чару выпить.

Согласился Юрий. С боярами и дьяком дмитровскими в Москву прибыл. Встретил его еще в посаде конюший боярин Иван Федорович. В Кремле правительница принимала пышно. После совета боярского угощали жареными лебедями, вареными осетрами, вином заморским. Расстались дружески.

— Спаси тя бог, сестрица-правительница,— Юрий облобызал ее ручку, унизанную драгоценными кольцами. Сомневался яз в доброте твоей, теперь вижу — сестра еси.

Через месяц Юрий, не подозревая плохого, приехал

только с двумя дружинниками. Иван Федорович вышел к нему строгий.

— Дошли до нас вести достоверные, что задумал ты, князь Юрий, измену.

— Что ты, боярин? — удивился Юрий. — Каку таку измену?

Юрия заключили в темницу. В Синодальной летописи кратко записано: «Преставись князь Юрий Иванович страдальческою смертью, гладной нужою» (голодной смертью).

Князь Андрей Старицкий, узнав о смерти брата, вооружался, усилил свою дружину, готовил мятеж. К нему по указу Елены поехали московские бояре, уговаривали, клялись, что ни один волосок не упадет с княжей головы.

— Государыня все забыла и простила, а что касаемо князя Юрия, то у дьяков в приказе в потаенном ларе лежат изменные грамоты. Приедешь в Москву — покажем.

Слабовольный, нерешительный Андрей Иванович поддался на уговоры. Его судьба была такой же, как и князя Юрия. Андрееву супругу и сына взяли под стражу, приближенных разослали по монастырским тюрьмам, тридцать дворян повесили на деревьях большой новгородской дороги. Набожная Елена не забыла устроить загробную жизнь Андрея: похоронили под спудом церкви Михаила Архангела рядом с Юрием. Попы и дьяконы сорок дней служили панихиды, горели красные восковые свечи, курился в кадильницах ливанский ладан. Перед церковью — поминальные столы: кутья, блины, брага.

Почетно. Торжественно. По-христиански.

Из Литвы крепостные холопы толпами бежали на Русь, пограничные заставы их пропускали. Русские помещики охотно принимали перебежчиков, которым даже нелегкая мужицкая доля казалась лучше, чем в панском королевстве.

Престарелый король Сигизмунд чествовал двух московских изменников: князя Семена Бельского и окольничего Лятского. Они получили богатые поместья.

— Твоему королевскому величеству,— говорил Сигизмунду Бельский,— ведомо, что государь Московский — мальчик, между правительницей и боярской думой — свара. Приспело время твоим победоносным войскам уничтожить Москву.

Бельский и Лятский, готовившие русские полки в Серпухове, открыли Сигизмунду их расположение, перечислили воевод, указали на наиболее уязвимые места, куда стоит направить удар.

— Скажи, пан Бельский,— спросил Сигизмунд доверительно,— пани правительница Елена — крови благородной, литовской — может, без брани уступит нам Смоленск? Мы ее отблагодарим.

Бельский нехотя:

— Пан наияснейший король, пусть знает твоя милость, что княгиня Елена начисто от литовской крови отверглась и блюдет только Русское государство.

Сигизмунд начал войну с Москвой. Литовские гусары, пехота, артиллерия, предавая все огню и мечу, вторглись в русские пределы. Сожгли крепость Радогощь, подошли к Чернигову, обстреляли крепость. Русские ответили пушечной стрельбою.

Ночью воевода Федор Мезецкий с черниговскими казаками и служилыми касимовскими татарами (в Московском войске было много татарских полков) ударил на литовский лагерь. В литовских рядах произошла паника. Неприятель бежал, оставив победителям всю артиллерию и обоз. Попытки литовского гетмана Вишневецкого овладеть Смоленском не удались. Смоленский воевода отразил приступ, и его дворянский полк гнал литовцев несколько верст.

Несмотря на зиму и снежные завалы, псковское и новгородское ополчения князя Бориса Горбатова подошли к Вильно, где находился король Сигизмунд. Поражение Литвы казалось полным. Московские войска стояли у границы Ливонии. Литовские паны обратились за помощью к Польше, тогда еще не объединенной. Поляки обещали, но не помогли.

Сигизмунд послал богатые дары крымскому хану, и крымчаки нескончаемым потоком устремились к берегам Оки. Князь Дмитрий Бельский повел из Коломны пять тысяч конницы и обратил вспять татар. Крымчаки ушли в степь.

Изменник Семен Бельский, набрав новые литовские полки, осадил Гомель. Трусоватый воевода князь Щепин увел свои войска и пушки к Москве. Его в оковах привели во дворец к правительнице.

— Подлый холоп! — Елена ударила Щепина по лицу. — Так-то ты служишь великому князю и мне. Казнить труса!

Ободренные отступлением русских, литовцы взорвали Стародуб и Почеп. Тогда воевода Шуйский, разорив Шклов и Дубровны, вынудил литовцев покинуть захваченную местность. Елена и боярская дума указали восстановить Стародуб и Почеп, на литовской земле в короткий срок была построена сильно укрепленная крепость Себеж.

Сигизмунд возмутился. Возможно ли, московиты в его владениях утвердили крепость? Киевскому наместнику пану Немирову было приказано взять и взорвать Себеж. Польский сенат прислал десять тысяч воинов, столько же собрали литовцы. Подвезли польские пушки и открыли пальбу по Себежу.

Из сей затеи получился полный урон. Русские сделали вылазку из Себежа и стали теснить польско-литовское войско, которое отступило на покрытое льдом озеро. Лед подломился. Литовцы тонули, москвичи били их, захватили все пушки, знамена, пленных. Воеводы Засекин и Тушин донесли в Москву о достохвальной победе, их наградили золотыми медалями.

Старик Сигизмунд призвал Семена Бельского и Лятского, ругал их.

— Лжецы вы, паны! Москва и при младенце сильнее Литвы.

Семен Бельский сбежал в Крым.

В Казани заговорщики зарезали юного царя Енелая, и ненавистник Руси Сафа-Гирей снова вступил на престол. Его орды принялись разорять Нижегородскую землю, угрожая Мурому. Московские «заслонные» воеводы отступили, их арестовали и казнили. Посланные новые воеводы обратили в бегство казанские полчища.

Сафа-Гирей запросил мира, обещая быть верным Москве.

Елена освободила из белозерского заключения бра-

та убитого казанского царя Енелая Шиг-Алея и его семью. С уважением приняв их в Кремле, назначила Шиг-Алея царем. Посадить его в Казань однако не удалось. Крымский хан выступил посредником за Сафа-Гирея. Не желая иметь еще одну войну с Крымом, боярская дума посоветовала правительнице заключить мир с Сафа-Гиреем.

В 1537 году полоцкий наместник пан Ян Глебович с посольством в четыреста человек прибыл в Москву для заключения перемирия. Яна Глебовича принял в Грановитой палате маленький государь, сидя на троне. Он весело смотрел на толстого наместника, которому пузо мешало преклонить перед троном колени.

— Како здравствует наш брат король Сигизмунд? — Иван встал, принимая грамоту и передавая ее конюшему боярину Ивану Телепневу.

— Его королевское величество, да продлятся дни его жизни, здрав и желает того же брату своему великому государю Московскому Иоанну.

Рядом с Иваном восседала и правительница в великокняжеском венце и златотканой одежде. По бокам трона застыли в белых кафтанах с золотыми позументами рынды, держа в руках серебряные топорики. Вручив грамоту, послы удалились в покои боярской думы для окончательного решения.

Переговоры продолжались долго. Спорили, доказывали, убеждали. Перемирие заключили на пять лет. Москва оставила за собой крепости Себеж и Заволочье, а Литва — Гомель. Елена здесь продолжила политику своих славных предшественников — Ивана Третьего и Василия Третьего: «Мы хотим жить мирно, но войны не боимся».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Елену Васильевну бояре во главе со стариком Василием Васильевичем Шуйским мало сказать не любили — ненавидели. Самые гнусные слухи распространяли их клевреты по Москве. А из Москвы слухи, липкие, грязные, пасквильные, ползли по Руси. «Правительница наша иноземка в блуде с богомерзким Ивашкой Телепневым пребывает. По ночам, когда право-

славные сон держат, у Ивашки во дворе пляски устраивает, вино пьет, без суда вельмож мукам предает. Вдовье ли дело на охоту ездить? Наряжаться в польское платье? Да еще нечестивые беседы с фрязинами и немчинами вести...» Никто не желал знать труда, положенного правительницей, никто не вменял во благо полезных дел ее.

Лишь в Синодальной летописи сохранились добрые слова о правлении Елены и о ней самой: «...мудра, мужественна, и всякого разума исполнено сердце ее, яко всем уподобися великой Елене Руской». Летописец сопоставлял Елену с древней княгиней Ольгой Киевской — в крещении Еленой.

Почему же так свидетельствует летопись? Что мудрого совершила эта поруганная всеми современниками женщина?

Елена исполнила завет Василия Третьего — оградила столицу на случай вражеского нападения крепкой стеной за пределами Кремля, призвав к этому московских жителей. Строили по плану зодчего итальянца Петрока Малого. Каменная стена имела четыре башни с воротами: Никольскими, Ильинскими, Варварскими, Козмодемьянскими. Новой постройке дали татарское наименование — Китай-город.

Жители копали рвы, таскали кирпичи и камни и сетовали: «Для ча затеяла сие ненужное Елена иноземка? Жили при кремлевской стене дай бог без отягчения».

Навела порядок великая княгиня в денежном отношении. Серебряные старые деньги торговцы и менялы обрезывали, переливали для подмеси. Это вызывало недовольство покупателей, денежные цены менялись, товары дорожали. Указом было отменено хождение обрезанных, старых и грязных монет. Деньги стали чеканить без всякого подмеса. Изменили на монетах изображение. Ранее был князь с мечом, теперь — с копьем, отсюда название «копейки». Фальшивомонетчиков казнили всенародно и страшно. Отсекали руки и лили растопленное олово в рот...

При правлении Елены поставлены две крепости на Литовской земле, основаны города Мокшан в Мещерском уезде, Буйгород в Костромском воеводстве, крепость Балахна. Отстроены сгоревшие города: Вла-

димир, Ярославль, Тверь. Окружен стеной Устюг Великий, укреплена Вологда.

Помещики, торговые люди, монастырские игумены ворчали: «Поборами замучила иноземка, и без нас погорельцы с божьей помощью построились бы». Выкупала Елена сотнями пленных из Казани, Крыма, Литвы за счет государственной и монастырской казны. И за это бояре и духовенство порицали великую княгиню.

Лишь один умный и сердобольный архиепископ новгородский Макарий (впоследствии знаменитый писатель и книжник митрополит Московский) поощрял Елену и, посылая ей семьсот рублей серебром, писал: «Права ты, государыня, душа человеческая дороже золота».

Бояре же видели у Елены Глинской только ее плохие поступки.

— Почто Шуйские, аки змеи, ополчаются?— спрашивала правительница Ивана Федоровича.

Вознесенный на первое место в государстве, упоенный властью, Телепнев пожимал плечами:

— Не тужи, Елена, сия туча суть навозная куча, держать бояр след в повиновении.

— Страшусь мести их, Иван мой.

— Отгони мысли наносные, правительница, я с тобою. Поезжай с государем к Троице. Узрят люди, что богомольна и добра ты, не жалей милостыни.

И Елена, Ванюша и Юрий отправились в лавру. Дети радовались путешествию. Останавливались у леса, мальчики бегали по траве, собирали ягоды и грибы, дышали лесным воздухом, мать была с ними ласкова. Ванюша любил ее — такую молодую, добрую. От нее всегда пахло миндалем и притираниями, и рука, гладившая детские кудри,— нежная, легкая, милая материнская рука.

В кремлевских переходах встретил Василий Васильевич Шуйский постельничую государыни Агафью Прокоповну.

Василий Васильевич, раздобревший, низенький, с окладистой черно-серой от проседи бородой, одевался богато: кафтан бархатный, пуговицы червонные с

бриллиантами, сапожки зеленого сафьяна, а на поредевших волосах мурмолка, тоже бархатная, осыпанная жемчугом.

Агафья Прокоповна, сумевшая подольститься к Елене, осталась в прежнем звании, и всё, что происходило в покоях государыни, через сына своего, дворцового жильца Петра, сообщала многочисленному роду Шуйских.

— Ну, како здравствуешь, Прокоповна? — Шуйский поманил боярыню к разноцветному окошку.

— Ах, батюшка, Василий Васильевич, молодая государыня сбирается с Иваном Федоровичем на охоту зимнюю в Волок-Ламский.

— Надолго ли? — Шуйский погладил бороду и, сняв с пальца перстень, протянул его постельничей. — Давно тебе, Прокоповна, подарок приготовил, да еще и мешочек с самоцветами дома у меня лежит.

— На ден десять, тако говорили; за подарок благодарю, боярин милостливый, чем тебе сослужу?

Шуйский оглянулся. В переходах тихо, никого не видно.

— Сочтемся, Прокоповна. Ты лучше скажи, кто правительнице питье подает?

— Окромя меня, боярышня Настасья Трубецкая — дева Елене Васильевне преданная, — а более никто.

— Что за питье государыня любит?

Постельничая задумалась.

— Достоверно льзя сказать — малиновый квасок частенько испивает, особливо после мыльни.

— Ну так, Прокоповна, как время приспеет, ты ее, иноземку, моим кваском напоишь, крепкий у меня квасок — в нос шибает.

— А кое время, боярин?

— Не торопься, Прокоповна, я тебе знак подам. К весне тот квасок поспеет. О господи, господи, прости грехи наши! — и пошел, благообразный, важный, пошагал в Грановитую на думу государеву.

Елена вошла в Грановитую палату в великокняжеском уборе с лицом непроницаемым, благосклонным, вошла в сопровождении Ивана Федоровича.

Бояре, окольничие и дьяки поднялись со скамей, низко поклонились.

— Будь здрава во веки веков, великая государыня-правительница.

— И вы здравы были бы,— ответствовала.— Василий Васильевич, доложи нам о чем седни дела.

— О торговой пошлине, государыня,— медово улыбнулся Шуйский,— след указ писать тако: «Повысить на воск с трех денег пуда воска до четырех». Ныне в Неметчине и в Италии на воск спрос, а нашему государству прибыль.

За два мирных года торговля пошла хорошо: в Россию из Европы привозили серебро в слитках, медь, сукна, ножи, зеркала, вина. Из Азии — ткани, парчу, ковры, жемчуг, драгоценные каменья, а из России вывозили меха, кожи, воск, моржовые клыки, хлеб, овес, соль.

Написали указ, поставили печати. Расходились — кланялись государыне, Ивану Федоровичу, друг другу.

У ворот боярские возки на полозьях. Около них холопы, им было холодно, и они, чтобы согреться, дрались на кулачки.

Погода на диво светлая. Снег хрумкал под копытами лошадей. У государыни на вышитой кожаной рукавице смирно сидел любимец Василия Третьего Ярь с надвинутым на глаза колпачком. Господи боже ты мой, до чего хороша жизнь! Вот так скакать на белоснежном Витязе, скакать до самозабвения, ни о чем не думать. К чему думы? Она еще молода, двадцать шесть. У нее сын — государь великой державы.

— Госпожа!— подъезжает охотник,— спусти Яря, лисичка тута бегает.

И Ярь щурится, сидя на рукавице, щурится от сверкания снега, от голубизны холодного неба, от неизмеримой широты лесных просторов. Глаза Яря большие, жестокие, желтые с черныю крапин. Он взмывает вверх в лазурь до чего прямо, до чего красиво. Елена жестом подзывает Телепнева.

— Иван мой!— снимает рукавицу и теплой рукой касается его плеча.— Бардзо хорошо!

Иван Федорович хмуро:

— Хорошо-то хорошо,— тихо: — Шуйские воду мутят. Мои люди донесли — собираются бояре у Василия Васильевича.

— Чего хотят?— спросила и подосадовала на Телепнева: помешал повеселиться, повернул к делам государственным.

— Меня в ссылку вологодскую, а правительницу на постриг, яко Соломонию. Неча тут прохлаждаться, пес с ней и с охотой, возвращаться след в Москву.

— Яз княгиня и царица, мя только убить можно,— ответила горько.

К вечеру с Настасьей Трубецкой ходили по селу, заходили в избы, одаривали ребят пряниками, мужикам выставили бочку вина, раздавали тонкую холстину бабам. Мужики снимали треухи, бабы охали: «Спаси бог, государыня, многим тобою довольны». Глаза отводили в сторону: благодарили как бы по принуждению.

Сумрачная возвратилась Елена в кремлевские покои.

К постельничей в отсутствие правительницы зашел ее сын Петр, почесал затылок.

— Матушка! Василий Васильевич наказал, чтобы наведалась. Квас малиновый для прохлаждения государыне сготовил.

— Какой такой квас? Для ча несуразным языком мелешь?

— Дак сама знаешь, не таись от меня.

— Загляну к боярину,— сказала.

Пригорюнилась Агафья Прокоповна. Хучь правительница к ней сурова, а не обижает. Щедра Елена Васильевна, монисты подарила, парчу к рождеству. Служба почетная, не обременительная. А кляну ее, иноземку, вавилонскую блудницу! Намедни пригожему жильцу Константину Нарышкину так зазывно улыбнулась, что у мя, вдовы, и то кишки в чреве перевернулись. Блудодейка! Гордячка! А и жалко было бы, все едино. Не исполнишь приказа Василия Васильевича — обольешься горячими слезами: зверь боярин, на дне морском сыщет.

Встала Агафья на колени перед киотом, земно поклонилась. Умиротворенно на нее глядели святители, и теплилися красные и зеленые лампадки.

Третье апреля тысяча пятьсот тридцать восьмого года.

За кремлевскими окнами нахохлились голуби, крикливые галки и шумные воробьи. Снег тает, грязно, по мосткам еле пройдешь. Все серо, зябко, темно.

Утром Елена в храме прослушала обедню, провела часа два у сына. Ванюше нездоровилось, лихорадило.

— Матушка,— просил,— посиди со мной.

— Вечером загляну.— Поцеловалась с сыном.

Вышла к себе. Прилегла на постель. Болела голова.

— Господи! Четыре года правлю, устала.

Вчера пришла грамота из Вологды, почил князь Митрий, положили его в церкви Прилуцкой. Упокой, господи, душу его. Во рту сухо, позвала:

— Агафья Прокоповна!

Та словно ждала:

— Чего изволишь, государыня?

Вид у постельничей смутный, под глазами синяки, щеки обвисли.

— Не хвораешь ли, Прокоповна?

— Простыла утресь, государыня.

— Подай квасу испить.

— Какого прикажешь, государыня?

— Все едино, холодненького чтобы.

— Малиновый хорош, играет.

— Ну подай.

Постельничая в серебряную чару налила квасу. Василий Васильевич говорил — сразу безболезно отойдет правительница. На блюдо поставила.

— Испей, Елена Васильевна, полегчает.

Елена глотнула.

— Горчит чего-й-то квас твой, — и допила чару.

Агафья Прокоповна взяла чару, вынесла в сени, мису с квасом выплеснула в яму отхожую. Из кадки с водой ополоснула и чару, и мису. «Пронеси, владыка небесный»,— шептала и крестилась. Подошла к покою государыни, прильнула ухом к двери. Послышалось —

стонет. Елена. Иноземные часы заиграли и пробили два. В покоях правительницы наступила тишина.

Со страхом Агафья Прокоповна вошла к государыне. Елена лежала, скомкав шелковое одеяло, голова закинута, на губах зеленая пена, глаза широко раскрыты. Постельничая нашла в себе силы — отерла губы Елены, положила ее голову на подушку, прикрыла веки, сложила на грудь еще теплые руки правительницы. С лица Елены медленно сходила гримаса боли, оно становилось белым.

Еле передвигая ноги, Агафья вошла к девушкам.

— Горе, девы! Государыня в одночасье богу душу отдала! — запричитала: — На кого ты покинула нас, свет, Олена Васильевна!?

Настасья Трубецкая бросилась звать людей. Прибежали дворцовые жильцы, лекарь Николай Люев. Из боярской думы, как в бреду, — Иван Федорович. За ними важно, не спеша, Василий Васильевич Шуйский и вся свора родичей. Бельские — извечные соперники Шуйских — стояли в сенях поодаль. Знали, что теперь Шуйские возьмут бразды правления. Дворцовый поп в черной ризе скороговоркой у постели правительницы читал «за упокой».

Телепнев зачумленным стоял в опочивальне, никто не подходил, никто не утешал. Знал — вскорости закуют в железо и казнят. Он был молод, крепок, смел и не боялся судьбы. Он только видел смертный профиль Елены, и его сердце сжималось и плакало.

Сестра Телепнева государева няня Агриппина привела детей.

— Подойть, Ванюша-государь, простись с матерью.

Мальчик молча встал на колени у постели и поцеловал руку и лоб матери. Увидев одинокого Ивана Федоровича, побежал к нему, обнял, всхлипывая по-детски сиротливо.

— Нянька! — властно распорядился Шуйский, — уведи государя и княжича наверх...

Елену Глинскую похоронили к вечеру того же дня в Воскресенском монастыре под тоскливый колокольный малый перезвон. Поминки были скудные. Вкладу бояре дали только полста рублев.



МАСТЕРА

Что на славной реке Вологде,
Во Насоне было городе,
Где, доселе было, Грозный царь
Основать хотел престольный град
Для свово ли для величества
и для царского могущества...

(Из народной песни)

ДЕЛА ПРИКАЗНЫЕ

В решетчатые окна архиерейского казенного приказа бил мелкий сухой снег. На улице темно, и только бой часов на новой каменной колокольне нарушал тишину.

За столом, залитом чернилами и воском, сидели двое. Один из них — черноволосый, с редкой бородой, в черном кафтане, другой — в коричневом, молодой и голубоглазый, с чуть пробивающейся бородкой.

— Скажи, Иване, кто сии часы утвердил? — спросил молодой.

— Наши русские люди, Ванюша. Исак Богданов, Засодимской волости плотник, с шестью товарищами утвердили часовое колесо, а часы с боем починил старец Михайло Кириллова монастыря, да что, Ванюша, починил — он их заново сделал: шестерни новые, бой колоколам привел, и стали часы на загляденье вологжанам.

— А ты, Иване, не помнишь, сколь им за это уплатили?

— Богданову один рубль четырнадцать алтын, а Михайле шесть рублев.

Восковая свеча горела кротко, умиротворенно.

Старший — Иван Слободской, архиерейский певчий и летописец, коему владыка Гавриил указал вести историю города Вологды и окрестностей, задумчиво глядел на трепетный язычок пламени.

— Ты, Ванюша, хоть и разумен и подьячий, а все же по юности мало видел, а я по должности своей знаю и то, что было при наших предках, и то, что деялось страшного, о чем лишь в потаенных делах слово сохранилось.

— Мне дядюшка протопоп сказывал, что при владыке Маркеле в такой-то вот мороз девку голую в землю зарыли.

— Правду сказывал дядя твой. То дело в декабре было. По наговору молодую крестьянку Агрипенку, крепостную Корнильева монастыря, Маркел повелел за якобы убийство мужа в землю окопать до смерти.

— А може, взаправду, она мужа порешила?

— То сущая напраслина: умер муж от грибов, на ночь поел, да, видно, поел много и от колик богу душу отдал. А хозяйство у него было богатое, вот родичи и оговорили, дабы завладеть имением. Девка-то из бедных, за старого просватана.

— Будь добр, поведай.

— Ин, слушай. Зарыли ее на лобном месте неподалече от архиерейских палат. Окопали по грудь. Старосты присутствовали: земский Кузьма Панов и губной Данилов. Да снег еще стрельцы утоптали. Рядом поставили деревянную мису, дабы граждане вологодские подаяние клали на обряд похоронный. Видя сие, вологжане зароптали, стали теснить стрельцов, мерзлый снег в них пригоршнями кидать... Да ты сам, Ванюша, посуди, разве можно на сии муки младой невинной Агрипенки глядеть? Зачали кричать: идем к архиерею Маркелу, его-де монастырская крестьянка, должон ослободить.

— Ну и что же, Иване, ослободили?

— А ты не перебивай. Темень была, смоляные факелы зажгли. Тут один старичок писарь был, упроси-

ли его составить челобитную на имя царя Алексея Михайловича, бумагу достали, и стал писарек при факеле отписывать. И пошел народ на архиерейское подворье. В церкви домовой архиерейской шло позднее служение. Маркел вначале отказал: не мешайте, мол, службе нашей. Народ загомонил; ослобони, а то сами откопаем. И писарек владыке челобитную сунул этак дерзко: читай, владыка.... Пришлось Маркелу распорядиться откопать женку. С бережением откопали Агрипенку, положили на овчинный полушубок, староста Данилов влил ей в рот глоток водки, зачали снегом окоченевшую растирать и принесли сюда, в судный приказ, где мы с тобой сидим. Пробыла в яме смертной Агрипенка несколько часов. К утру богу душу отдала.

— А ты, Иване, сие в летопись записал?

— Разве запишешь? Разве такое разглашать можно? Владыка нынешний Гавриил умолчать велел. Лишь грамотка Маркела боярину Репнину в Москву в делах архиерейских сохранилась, где Маркел писал, что к нему пришли вологжане, дабы разрешил тою женку из земли раскопать. Да-а... А теперича ждет Гавриил из Ярославля гостя — живописного мастера Димитрия Григорьича Плеханова. Вызвал его преосвященный для подряда: покрыть стенописью Софию. О сем деянии, конешно, в летопись запишем, прославим не токмо мастеров, а и Гавриила.

И замолчал летописец Иван Слободской.

За решетчатым окном снег, ветер. В морозном тумане еле просвечивала луна.

ГОСУДАРЕВА ДОРОГА

Государева дорога от Ярославля до Вологды построена по указу Ивана Третьего, чей брат Андрей Меньшой был удельным вологодским, а затем передал удел старшему брату — великому князю московскому. Сам Иван Третий еще отроком жил в Вологде с отцом Василием Темным, ослепленным Шемякой.

Тянулась дорога от Ярославля через глухие леса, богатые монастырские пашни, через топи, мимо помещичьих усадеб и бедных крестьянских деревень.

При царе Иване Васильевиче Грозном она обновилась. Многочисленнее стали «ямы» — ямские станции, где менялись лошади.

Скакали в Александрову слободу и в Москву с грамотами о посыле на Вологду всяческих припасов, ибо строил пресветлый царь в облюбованной им Вологде каменную крепость и кафедральный собор во имя Софии — Премудрости божией, украшение для всего царства и для посрамления государевых недругов — московских бояр и строптивых новгородских феодалов. Летопись гласит: «царь повеле соборную церковь поставити внутри града у архиерейского дома; и делаша ю два года: а колико сделают, то каждого дни покрывали лубьем и того ради оная церковь крепка на расселины». Каменное строение крепости освятили в день апостола Насона, и потому в песнях именовали Вологду Насон-градом.

По государевой дороге ездили и иностранные гости, и купеческие обозы, ибо лежала Вологда в центре Руси Северо-Западной, и вели пути и проезжие, и водные на Пермь и к Устюгу Великому, к Соли Вычегодской — вотчине Строгановых, к Архангельскому городку, откуда морской путь вел в зарубежные страны и в аглицкое королевство, где на троне тогда сидела Елизавета Первая, которую, после ее вежливого отказа на сватовство московского царя, тот обозвал «пошлой девкой».

Запустела ярославская дорога в годы лихолетья панско-шляхетского, когда отряды захватчиков и «тушинских воров» грабили население Вологодского края, да и саму Вологду и собор зорили и жгли. При первом Романове, Михаиле Федоровиче, и «тишайшем» Алексее Михайловиче разбойничьи шайки нападали на обозы, и надо было ехать с превеликим бережением в сопровождении стрельцов или вооруженных слуг. А после Степана Тимофеевича Разина многие холопы боярские и помещичьи от батогов и тюрьмы бежали в леса и соединялись для совместного житья.

Вот по такой-то дороге в 1686 году вьюжным февралем из Ярославля по именному вызову архиепископа вологодского и белозерского Гавриила в архиерейском возке выехал в Вологду иконописец Дмитрий сын Григорьев Плеханов.

ВЛАДЫКА ВОЛОГОДСКИЙ

У Гавриила к вечеру опухали ноги и уставало сердце. Был он роста среднего, широк в кости, одутловат, голубоглаз, лицом благообразен; бородка его рыжеватая с проседью, а волосы на голове густые. Немчин Иоганн Фридрих Мейер, что жил во Фрязинове, насупротив реки, где стоял дом Иоганна Гутмана, голландского консула и купца товаров аптекарских (а там была и лакрица, и финики, и даже для девиц марципаны),— так вот, лекарь Иоганн Фридрих, ставя Гавриилу пиявки и капая в чарку успокоительное из разных трав, говорил, подбирая русские слова:

— Вашему преосвященству необходимы прогулки по саду, отдых в кресле на воздухе. От долгого стояния на церковной службе и от постной пищи вред большой здоровью вашему приключается.

— Нельзя, лекарь, никак: пост и служба для монаха вроде воздуха — спасение души,— качал головою владыка.

— Спасение души, а не тела, милостивый господин епископ,— возражал лекарь.—Великий Гиппократ советовал...

— Что мне твой Гиппократ,— махал пухлой рукой Гавриил,— ты лучше скажи, Иоганн, что делать со стеснением в животе, третьи сутки в нужник не хожу, аж тошнота подступает?

Иоганн в соседней горнице, где в ларе хранились лекарства, приготовлял слабительное и, попрощавшись с владыкой, накидывал на плечи подбитую мехом епанчу, а на голову — треух беличий, садился на лошадь и уезжал.

Лекарь Иоганн, как и все немчины, уважал епископа — тот относился к иностранцам не только терпимо, но и поощрительно. Беседовал о торговле, никогда не заводил разговора о преимуществе православной веры над лютеранской и католической, читал по-гречески и латыни, и во Фрязиновской слободе о нем всякого мастерства люди отзывались почтительно и любезно: «Наш господин епископ, да продлятся его лета, мудрый господин и благожелательный — при нем жить можно без тяготы».

Вологда в конце семнадцатого была не та уже, что в начале века, когда епископ Сильвестр после погрома, учиненного в городе бандами польских и литовских воров, писал князю Дмитрию Пожарскому и Козьме Минину о том, что враги «город и посады выжгли» и что виновны-де в этом воеводы, ослабившие караульную службу. Пережила Вологда и пожар, учиненный воеводой Леонтием Плещеевым.

После подавления народного движения Степана Тимофеевича Разина (когда атаман даже в Ферапонтов монастырь к опальному патриарху Никону присылал казаков, чтобы освободить того из заключения и привезти к нему — атаману для «общего дела»), Вологда купеческая и торговая, ведшая через Архангельск заморский торг, стоявшая в центре страны на путях в Сибирь и Великий Устюг, быстро отстроилась. Появились новые каменные храмы и купеческие палаты, а склады и баржи наполнились товарами из чужеземных государств, из Соли Вычегодской и Перми от Строгановых, из Великого Устюга и от батюшки Урала. В самой Вологде процветал богатейший купец Фетиев, заслуживший своими торговыми и благотворительными делами похвальный титул «Московского гостя».

А что бывали мор и голод в окрестных селах и деревнях,— то сие дело для воевод, старшин и церковных властей было извечным, привычным, и работали плотники, и каменщики, и пришлые бобыли «ради единого хлеба, безденежно». Строили архиерею кремлевские стены, а купцам и дворянам затейливые деревянные дома на каменных фундаментах, и были те дома, как бревенчатые сказки, разукрашенные и деревянной кружевной резьбой, и просечным железом, с выгнутыми птицами сиринами, единорогами и львами.

В крытом сукном и кожей рыдване выезжал владыка Гавриил с архиерейского подворья, впереди на сером коне скакал стрелец с нагайкой и кричал: «Пади!» — и народ, видя архиерейский возок, крестился и кланялся, а владыка осенял их благословением.

Зимой и сухим летом в Вологде еще можно было ездить, а весной и осенью в распутицу — не дай бог, грязь по колено, в глине застревали колеса. С этим мирились: на то и грязь, божье соизволение, а если хочешь без проволочек — на коня садись.

Зато красивы многочисленные церкви, и по утрам и по вечерам висел над Вологдой золотой колокольный звон. Были такие искусные звонари, соборные и спасо-прилуцкие, монастырские, что подолгу стояли, не шелохнувшись, на улице вологжане, восхищенно приговаривая: «Эх, и умудрил господь». Сам владыка Гавриил любил колокольный красный звон и лучшим мастерам приказывал выдавать суконные кафтаны с позументами, сапоги, а на зиму для отличия — катанки белые купеческие.

Одно угнетало Гавриила: в Софии — ах, до чего же храм прекрасен, ах, до чего же храм близок сердцу владычному! — нет в сем храме древнего украшения, стенной росписи, чтобы мог христианин православный в назидание уму и радость велию при созерцании дивных событий библейских и евангельских получать.

Ждал с нетерпением владыка приезда Дмитрия Григорьевича Плеханова, знаемого и почитаемого многими достославными иерархами и боярами изографа. А сколько запросит мастер с вологодской епископии за написание? А сколько припасу всякого понадобится? А главное — согласится ли Дмитрий Григорьев со своей артелью в Софии стенопись творить?

И вот, когда Гавриил у архимандрита в Прилуцком монастыре вкушал из серебряного ковша сухарный квас (умели его монахи готовить — и сладок, и в нос ударяет), приехал конный стрелец и доложил, что на владычное подворье прибыл в добром здравии ярославский изограф Плеханов.

Успокоенный известием, возвратился Гавриил в архиерейское подворье. Служка бережно поддерживал его под руки. Тут к Гавриилу бросился старый крестьянин в рыжем потертом зипуне, и, сорвав с головы треух, опустился на колени, и ударился лбом в снег.

— Чего тебе, сыне?

— Смилуйся, преосвященный владыка,— хрипло заголосил крестьянин: — Смилуйся, совсем обнищал, а твоего Прилуцкого монастыря старец Серапион последнюю корову отобрал, детишки от голода плачут, женка больная на полатях лежит... Сделай милость, прикажи корову воротить!

— А в чем ты провинился перед отцом Серапионом? — морщась от боли в ноге, спросил Гавриил.

— За долги, преосвященный владыка, не полностью внес. Веришь, последнее отдал, сами на мякине сидим... Прикажи!

— Не могу, сыне, как тя звать?

— Никифор Андреев, всю зиму, почитай, по велению монастыря лес валил, одежонка износилась, осемь пар лаптей сносил, овшивел весь, коростой покрылся...

— Бог труды любит,— ответствовал Гавриил,— а в дела монастыря входить не могу! Кланяйся отцу архимандриту, дабы он милость тя оказал и отцу Серапиону приказал с долгом повременить, а ежели с вас всех долги снимать, то как монастырю жить? Он за вас перед богом заступник.

— Владыка милостливый,— запричитал Никифор,— твой архимандрит глух к нашим просьбишкам, во всем полагается на отца Серапиона, а тот аки лютый зверь — все ему подай...

— Благослови тя, Никифор, господь! Не вводи меня в сумление, не клевещи на отца Серапиона.

Тягостен был Гавриилу разговор с крестьянином, но он знал, окажи послабление одному, завтра же десятки таких придут на архиерейский двор со своими просьбишками. А монастырю на что жить? На что храмы украшать?

Гавриил благословил склоненную голову Никифора и молча проследовал в свои покои.

МАСТЕРА С КОЗЛЕНЫ

На Козлене, слободке грязной, всегда пыльно. Едкая пыль оседала на бороды, на шапки, на платки, летом лежала на крышах, а при ветре поднималась тучей, забивала глаза, — вот какая пыль на Козлене.

Издавна Козлена считалась слободой бунтарской. Воеводы и стрелецкие сотники, земские старосты и купцы побаивались посадских и работных с Козлены. Здесь и в медный бунт, и в соляной, и в разиновский всегда горланили мужики, отсюда тайком шли парни на Дон и Волгу, отсюда ночами на дощаниках переправлялись к Степану Тимофеевичу канаты крепкие, смоляные, что любую ладью удержат; да что ладью — целый корабль.

Веревку здесь делали всякую — от тонкой до якорной. На все московское царство славились вологодские просмоленные канаты из отличной пеньки.

Жил на Козлене старый мастер Ефрем Андреевич Чучин, уважаемый на весь посад. Был он вдов, сын давно переехал в Устюг, и осталась у Чучина дочка восемнадцати лет — Евдокия, умная девка, бой-девка, глаза голубые с поволокою, а коса, ах, эта коса, девичья краса, до пояса, как лен, коса; характер, да уж характер — прямой, без лжи и утайки. Песни-то пела, ох, господи, как пела! И стар, и млад, и купец, и посадский молодец, и дьякон—все заслушивались Дуню.

Не жаловала Дуня только никонианское духовенство. Была она, как и отец, веры истинной, благочестивой и память мучеников старца протопопа Аввакума и иже с ним старицы Феодосии, в миру боярыни Морозовой, чтила.

Вышивала Дуня прелестные воздухи и платы для скитских храмов и посылала их на Белозеро и на Сухону, где в лесах отдаленных тотемских и тарногских святые обители древнего благочестия, как алмазы веры, сияли нетленным светом.

Грамоте девушку обучила мать Сосипатра из Белозерского скита, что две зимы прожила в большой и теплой избе Чучиных. Было это сразу же по смерти жены Ефрема Андреевича, и Сосипатра в особой кладовушке, где стояли аналой и иконостас, молилась вместе с хозяином, Дуней, стряпухой Маврой, дворником Митрием, пятью подмастерьями и подростком-учеником.

Ефрем Андреевич считался мастером первостепенным. Его мастерская стояла во дворе, а в деревянной пристройке хранились разных сортов канаты, веревки. Тут была и конюшня с жеребцом, в хлеву корова, овцы, в закутке птица и горластый огненно-рыжий петух и пес Полкан в конуре. На краю обширного ухоженного огорода стояли баня и смолокурня.

Дуня считалась невестой богатой, и многие сватались к ней, и не только из посадских, а и купецких сыновей. Один молодой стрелецкий сотник сваху засылал, а Дуня смеется — подожду еще. Сам хозяин отвечал свахам:

— Дуняша у меня в дому не лишняя, не переста-

рок, единственная богоданная дщерь, так пусть цветет, а там видно будет, все в господней воле.

Вечером при свече восковой читала Дуня домашним, да приходили и другие мастера, те, что по древлей вере. Любили слушать Дуняшино взволнованное чтение. А читала Дуня в книгу переписанные увещевания блаженного Аввакума к царю покойному Алексею Михайловичу — сынок которого царь Федор лютой смерти огненной Аввакумушку предал. Были в книге такие слова грозные:

«Перестани де государь, проливати крови неповинных, пролей в то место слезы, угаси пещь, палящую рабов христовых в Боровске и в Казани; с воздыханием из глубины сердца расторгни узы седящих в темницах и изведи живых закованных в землю.

О царю Алексее! Покажу ли ти путь к покаянию и исправлению твоему? Иной тебе так не скажет, но все лижут тебя — да уже слизали и душу твою. Ведаю разум твой; умеешь многи языки говорить, да што в том прибыли? Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах».

Слушали благоговейно, дивились силе слов Аввакумовых. С самодержавцем, великим государем — и так разговаривать! Ай, силен Аввакумушка, силен святой протопопище! Когда расходились и в избе оставались только почетные старики, разговор касался дел сугубо сложных.

— Почему так, свет ты мой Ефрем Андреевич, Никон-то — враг лютый Аввакумов и святой веры, а его Степан Тимофеевич на Дон звал, сулил место патриаршее.

— То, други, хитроумие Степана Тимофеевича. Никон от царя пострадал, у него, у Никона, власть великая была, он ведь не из боярского племени, а природный кержак, крестьянин, даром, что учен.

— Теперя в Москве Софья Алексеевна (цари несмышленыши — Иван да Петр), вкупе со старым кобелем патриархом Иоакимом многих чернецов, коих стрельцы поддерживали, побили, а попа Никиту люто казнили. Тут стрельцы промашку дали, испугались, когда бояре да дворяне закричали, что будут стрелецкую слободу зорить.

Слушала такие беседы Дуня, слушала, запоминала, и казались ей никониане антихристовым порождением, казались, но не все. Был один молодец, по виду приказный, казенный человек, никонианец и, возможно, трубокур, да ничего не поделаешь — пришелся по сердцу, припекся крепко, не оторвешь. И знать его не знала, а у реки на бережку встретила, два словечка промолвила, и во снах стал чудиться и в молельне — тьфу, тьфу окаянного. Окаянного-то окаянного, а сердцу милого. Всякое в жизни бывает...

На Козленой улице — древлее благочестие и крепкий посадский люд, друг за друга стоят и в обиду своего не дадут.

Вот что значит Козленая слобода.

ДМИТРИЙ ПЛЕХАНОВ

Изограф Дмитрий Григорьев Плеханов понравился Гавриилу. Опрятен, даже наряден, вежлив, говорил по-ярославски мягко, с закруглениями, и, сразу видать, дело свое знал досконально.

Пошли в собор. Взял с собой владыка певчего — Ивана Слободского, что вел с тщанием книгу, именуемую «Летописец Вологодский».

Окна алтаря смотрели на северо-восток, на реку. Так велел царь Иван Грозный, и это удивило иконописца. По канону, алтарь всегда обращен на восток, но царю пожелалось, чтобы он смотрел на реку. Так было красивее.

Храм холоден и велик.

Голоса звучали в нем гулко, отдаваясь эхом.

— Много работы, владыка, в сем храме,— сказал Плеханов, подрагивая от холода. (Шубу он оставил в архиерейском доме, и на нем только зеленый суконный кафтан да на ногах валенки щегольские, расписные).

— На западе,— владыка, как бы не слышал слов изографа,— след страшный суд изобразить во всю стену. И прошу тебя, любезный друг Митрий, особливо выдели архангелов, вострубивших о справедливом суде господнем.

— Так, владыка преосвященный.

— А штиль письма столповой, прославляющий Со-

фию — премудрость божию. Покажи, друг Митрий, пренебесную славу Христа и его божественной матери, покажи и их земную жизнь, и акафист богородичий.

— Так, владыка преосвященный, ведомо мне, что писать. Только разреши в хоромы пойти, задрог.

— Ин, ладно,— нехотя согласился Гавриил. Ему хотелось подольше побыть в соборе, хозяйским глазом еще осмотреть. Смущал владыку иконостас: пообносился очень, надо новый ставить. Выходя на улицу, молвил укоризненно:

— Больно ты зябок, Митрий Григорьев.

В архиерейском домашнем покое тепло, печка, кафельная с изразцами букетного узора, накалена. У икон в серебряных окладах мерцают лампады, пахнет кипарисом и росным ладаном — любил владыка этот запах.

— Ну а теперь давай рядиться: сколько возьмешь, каковы твои условия, какова твоя артель?

Гавриил сел в кресло, указав Плеханову на лавку. Плеханов сел щепотно, бочком.

— Артель моя, владыка, тридцать мастеров. С божьей помощью за два лета справимся.

— Надо стенописанием покрыть весь храм: и своды, и алтарь, и осьмерики, и окна. Сдюжите ли за два лета-то?

— Мы, ярославские, сдюжим,— улыбнулся Дмитрий Григорьевич.— Сначала надо левкасить, гвоздьями подбить.

— А сколько, к примеру, гвоздьев понадобится?— поинтересовался Гавриил.

— Сколько? На такую махину гвоздья тысяч сто пятьдесят али того больше. Работы посчитай, владыка!

Изограф стал загибать пальцы.

— Перво-наперво, очистить стены от извести. Второе, околотить стены гвоздьями, на коих левкас должен держаться. Третье, стены левкасить...

— Ладно те,— вздохнул владыка,— сам знаю, трудоемкая работа. Сколько поясов предполагаешь написать?

— Да уж не впервой мне. По соборным размерам, в алтаре да и диаконике — по четыре пояса, в жертвеннике — пять, а храме — по шести.

— В нижних поясах на столпах изобрази благоверных защитников земли нашей — князей русских.

— Все будет в благовременьи. Только придется, владыка, проемы оконные увеличить, дабы свет на живопись ложился. Ты сам сие знаешь: в Москве архимандритом служил, понимаешь зело благолепие.

Гавриил был польщен:

— Знаю, Митрий Григорьевич,— сказал с «ичем», уважая иконописца,— знаю, что ты славный мастер, не подведешь. Цена-то какая? Мы с тобой вокруг да около ходим.

— Тысяча осьмсот рублев,— Плеханов лучисто посмотрел в глаза Гавриила,— меньше никак нельзя, в июле и приступим к писанию, а до того все надо подготовить.

— Господи!— Гавриил нарочно удивился,— что ты, окстись, любезный, тысячу триста можем дать от нашего недостоинства, храм-то божий украшаешь, Митрий, пойми!

Рядились долго, еще раз осматривали собор, совещались о том, что писать в верхних поясах, то есть в поясах первых (счет поясов шел сверху). Решили, что в сводах надлежит быть великому поясному изображению Спасителя, благословляющего, с надписью по нижнему краю всего осьмерика: «Пречистому твоему образу поклоняемся, благий».

Наконец 26 марта 1686 года в утро солнечное, когда воробьи шумно безумствовали на архиерейском дворе, а голуби томно ворковали на карнизах, в палате казенного приказа после молебствия, что служил отец Иосиф, ризничий соборный, был подписан наряд. Архиерейский дьяк, преисполненный важности, гнусаво читал бумагу, скрепленную красной печатью:

«Подрядился на Вологде соборную церковь и с алтарем и с приделы подписать стенным писмом ярославец иконописец Дмитрей Григорьев сын Плеханов: ряжено ему от того всего стенного писма 1500 рублев; дано ему, по рядной записи наперед 400 рублев. Да ему ж иконописцу Дмитрею Григорьеву к тому стенному писму дано на покупку гвоздья восемдесять тысячь пятьдесят рублев».

В домовой трапезной отец казначей угощал Плеханова медом, крепким, вкусным и до того прозрачным, что в серебряной позлащенной чаре он светился таинственно и проникновенно. А на блюдах разложены пост-

ные яства: стерлядка шекснинская, снетки белозерские, рыжики устьянские один к одному с лучком, ну и, конечно,— икорка, без нее архиерейский стол не стол.

Когда установилась дорога, на сытых монастырских конях в мягкой кибитке, сопровождаемый двумя вооруженными послушниками, Плеханов выехал в Ярославль.

Весенняя дорога была более оживленной, чем зимняя. На полях работали мужики, запаренные лошадки старательно таскали деревянные сохи. По мокрой вспаханной земле важно, глянцевито отливаясь на солнце, выступали грачи, и убогие деревеньки, крытые соломой, казались помолодевшими.

Так только казалось. Мужик знал, что работает на помещика или на монастырь, что лучшая часть урожая пойдет господину, он это знал, но все же работал с упоением, работал до потери сил. Под домотканой рубахой напруживались мускулы, пот выступал солеными каплями, и все же он работал, изредка смотрел на солнце, прикрывая глаза мозолистой ладонью. И Сивка, вечная каурка, низкорослая, рыжая, помахивая куцым хвостом, напрягая силы, помогала своему хозяину, помогала в самом святом крестьянском деле — выращивать хлеб для державы Московской.

ЛЕДОХОД НА ВОЛОГДЕ

Ледоход в 1686 году на реке Вологде был страшный. Льдины с шумом бились о берег, громоздились друг на друга, раскалывались. Большие плыли посреди реки. На них видны следы полозьев, сено, жерди. На навозе прыгали воробьи и галки, и в воздухе стоял, как колокольный перезвон, ледоходный перестук.

У дома Гутманов и у ближней на берегу церквушки глазел на реку вологодский люд. Тут и Дуняша с подружками лузгала тыквенные семечки. И, конечно, невдалеке от девиц — парни в распахнутых полушубках и шапках набекрень. По голубому небу — белые барашки.

И опять Дуня увидела его поодаль от парней. В коричневом теплом кафтане, в зеленых юфтяных сапожках, по всему облику — служилый человек. Лицо у него доброе, а бородка шелковистая, русая, мягкая, и доброжелательно смотрит он на Дуню.

Она тоже на него взглянула. И от того Дуняшиного взгляда улыбнулся молодец, подошел ближе, снял шапку, бобром отороченную.

— Здравствуй, красавица!

— И ты будь здрав.

Дуня как бы ненароком, как бы очарованная рекой отошла от подруг ближе к берегу. Рядом он очутился. Заговорили. Кто да откуда. Дуня сказалась отеческой дочкой Ефрема Андреича Чучина, а он — так и знала, так и чуяла — никонианец Иван Миронов из архиерейского дома, приказной подьячий. С таким не только разговаривать, на него и смотреть зазорно.

— Да разве дело в том — никонианец я или старовер? — спросил Иван. — Пойми, Авдотья, одна вера есть христианская, а все иное только суеверие. Нам, молодым, оно ни к чему. Пусть уж келейные старцы да церковники из-за буквы спорят.

— Вы щепотью молитесь, кукиш небу кажете. — возразила Дуня.

Иван промолчал.

— Чего приумолк, парень, али возразить нечего?

— Эх, Авдотья Ефремовна, нам бы не о том, как персты складывать, а о себе поразмыслить. Ты мне сразу по сердцу пришлась, да и я, видать, тебе не поперек горла, чем препираться, постоим, помолчим, на реку полюбуемся.

Иван ближе придвинулся к Дуне, взял ее руку в варежке и пожал. Она покраснела, но не отодвинулась. Так и стояли без разговора. Да какой тут разговор, ведь на небе солнце, а на реке веселый ледоход.

...Вечером дома у дяди Михаила — священника церкви Герасима, что на Ленивом торгу, Иван поведал о староверческой девице Авдотье. Михаил, рано облысевший, но с густой черной с проседью бородой, в домашнем домотканом подряснике, сидел на лавке и кушал простоквашу из глиняной миски, откусывая от большой ржаной лепешки. Он был опекуном Ивана, отец которого — посадский человек из Верхней сло-

боды, поверстанный на государеву службу в рейтарский полк писарем, — погиб в украинской степи в походе на орду.

Слушал Михаил племянника задумчиво, шевеля бровями. В Иване он и попадья Мария Даниловна души не чаяли. Их единственная дочка Маша скончалась от черной оспы, и стал Иван старикам за сына.

— Ты бы, Ваня, владыке докучался с просьбишкой и со старшим другом своим Иваном Федоровичем Слободским посоветовался. Слободской у архиерея не токмо любимый певчий, но и летописец, а ты ему в сем великом деле — помощник.

Михаил поднял кверху указательный палец:

— Это понимать надо, все одно, что Нестор Киево-Печерский. Ну и то в расчет возьми — отец у Авдотьи мастер, я и то о нем слышал, богатый хозяин. Он хотя и старой веры, но с никонианцами водится, не чурается. Там ведь не только по старообрядческому живут, а и в церковной приходской православной молятся и особливой разницы не делают промеж себя, одним и тем же занимаются — канаты смолят. Так что, Ванюша, похлопочи у архиерея Гавриила, даром что он лишь два года пасет епархию, и немчины, и православные, и по древлей вере — уважают и почитают его.

— Невместно, батя, в такое приватное дело владыку вмешивать, он-то ведь монах.

— Монах-то монах, а любил когда-нибудь. Не может мужчина, чтобы хоть и в сновиденьях, а о девицах не думать. Когда я, грешный, в Ярославле обучался духовному обиходу, мой приятель, ныне ярославский настоятель, пел кантату, кою распевали в Киевской академии.

И отец Михаил, грустно улыбаясь далеким милым воспоминаниям, надтреснутым басом провозгласил:

От дивчины отлучили
И в монаси посвятили,
Ах, боже, боже, ах,
Ах, как жаль, что я монах!

— Вот так-то, сынок Ванюша...

— Ладно, батя, поговорю со Слободским. Да суть еще в том, что упорна Авдотья Ефремовна в старой вере. А я без нее страдаю.

— Хороша та девица, Ванюша?

— Не спрашивай, батя. На слободу, да что на слободу, на Вологду такой не сыщешь.

Они беседовали допоздна, пока не пришла матушка и не послала их на опочив.

МАСТЕР «СТРАШНОГО СУДА»

В конце июля в Вологде стояла неимоверная жара, дождя не предвиделось, и все кругом: и листья на деревьях, и трава на пастбищах, та, что не успели скосить, поблекла и пожухла. А в соборе прохлада. А в соборе пахло мокрой штукатуркой, и шел от еловых досок густой смоляной дух.

Дмитрий Плеханов и его артель приступили к работе в Ильин день. Стояли живописцы на шатких лесах и сводили на левкас очертания (графьи) фигур, чтобы затем накладывать цвет*.

Расписывали собор по заранее составленному «знаменщиком» — старшим мастером и обсужденному артелью композиционному плану. Расписывали на тех местах, где уже был левкас. Стены левкасили в течение двух лет, до конца работы живописцев, ибо артель Плеханова писала только по мокрой подготовленной штукатурке. Левкасили каменщики Корнильева монастыря и засодимцы. В приходо-расходной книге Софийского собора указывалось, например, под «августа двадцатого числа»: «Засодимцы, каменщики работали, в соборной церкви под письмо левкасили стены, Сенька Трефилов, Ивашка Васильев четыре недели, шесть дней, дано им по найму за работу по тридцать два алтына, по две денги человеку, и того обоим один рубль, тридцать один алтын, две денги».

Таких записей было много. За всю работу каменщикам уплачено сто двадцать рублей.

---

* «Стенопись вологодского Софийского собора исполнялась техникой, общепринятой в то время для русской монументальной живописи и основанной на совмещении фрески, то есть живописи по непросохшему левкасному грунту, с последующей работой темперными (клеевыми) красками» Из книги: В. Банигеи Н. Перцев. Вологда. Архитектурные и древние фрески Вологды. «Искусство», 1970.

— Без мирского суда не бывать доброму, — говорил Плеханов Гавриилу. — Великое дело стенопись соборная, и артель в нее вкладчик, и душа должна гореть у каждого.

— Правильно рассуждаешь, мастер, — хвалил владыка Плеханова. — Мир миром, а все же ты подрядчик и спрос буду держать с тебя, а не с артели.

— Понятно, я ответчик.

Плеханов расчесал гребешком бороду.

— Может, владыка, сие мое последнее рукописание. Борзо мыслю о премудрой Софии и западную стену сам исполню. Ты только не ставь сему препон. Страшный суд изображу тако, что будет оная картина не токмо в назидание православным, а и память об иконописце Дмитрии.

— Есть ли у тебя наметки стенописи сего страшного суда?

— Да сам ты, владыка, приказал архангелов выявить, а я мекаю, надо их сделать центром картины. Уподобить твоего тезку Гавриила грому гремящему.

Глаза мастера вспыхнули сине, аж владыка вздрогнул.

— Чтобы люди поняли и восчувствовали сей последний суд нелицеприятный, справедливый, для всех почивших отцов и братьев наших, восстающих из праха в плоть и равный для царей и князей, богачей и архиереев, прости слово мое, владыка, ибо троица святая скорее снизойдет до нищего и убогого, нежели до бояр и князей. Сказано убо: кому много дано, с того много и спросится.

Гавриил удивленно взирал на иконописца; всегда спокойный и вежливый, Плеханов ныне превратился в одержимого — и глаза сверкали, и голос прерывался от волнения.

— И все изобразишь?..

— Так, владыка. Оно, конечно, изображение праздников использую и по книге Пискатора, а одеяния, вестимо, русские, богатые, и обычай не заморский — московский.

Плеханов, в мягких сапожках, неслышно ходил по архиерейским хоромам. Сапожки летние, шаровары аглицкого сукна, рубашка льняная с узором, и кафтан легкий синий. Если бы не седина в волосах, да мор-

щины сеточкой у глаз — совсем молодцом был бы Дмитрий Григорьев.

Гавриил понимал, что мастером овладела живописная страсть и что это на пользу храму.

— Знаемо ли тебе, Григорьевич, роспись Дионисия со чады в монастыре Ферапонтовском?

— Знаемо, я из Вологды на дощанике сплыл с пятью артельными, поклонился и Кириллу Белозерскому, и Ферапонту с Мартемьяном, роспись Дионисия лицезрел с благоговением перед даром, коим господь на склоне его дней сподобил. Токмо, владыка, писать в Софии по своему разуму буду.

— По своему разумению делай, Григорьевич, ни я, ни казначей Афанасий не будем вмешиваться в твое художество... — он милостиво отпустил Плеханова.

В соборе работали. При виде Дмитрия обернулись. Семен Фомичев, старейший в артели, с болезненным желтым лицом, в посконной, заляпанной краской рубахе, крикнул с лесов:

— Хозяин, седни и вечером пишем. Сделай милость, позаботься свечами-то.

Раздавался стук молотков. Словно огромный дятел долбил железным клювом старинный камень. Пять мастеровых прилуцкого монастыря проламывали к окнам, для света, стены. Затем они должны были вновь те окна с решетками построить и под стенное письмо подмазать.

Когда темнело, зажигались восковые толстые свечи, приносил их свечник Мишка Ларионов.

И осенью в соборных окнах золотился свет и плыл он по реке, задумчивый и немного печальный.

Шли дни, недели...

ВОЛОГОДСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Иван Слободской любил смышленого и искренне преданного ему юношу Ваню Миронова. И на другой день после разговора с ним оделся парадно, расчесав густые черные волосы и бородку, не спеша пошел — благо недалеко — в архиерейский дом. За ним увязался его пес Балуй, черный, с белой проплешиной на лбу.

Гавриил принял Слободского ласково.

Иван докучался к Гавриилу с просьбишкой: полюбил, дескать, подьячий Иван Миронов Авдотью Ефремовну — единую дщерь знаемого мастера канатчика Ефрема Андреева Чучина, что состоит в древней вере.

Гавриил, человек столичный, книжный, в глубине души считал, что раскольники нисколько не хуже, а может быть, даже и лучше православных церковных: у старообрядцев и семьи крепкие, и табаку не употребляют, как ныне, не только молодые, а и зрелые мужи, да и пьяниц среди них меньше. Плохо то, что они до своей веры лишку подвержены. И вспомнил Гавриил Аввакума, пастыря заблудшего, но умнейшего и жестоко пострадавшего. Гавриил хотя и строг был, но полагал, что языки резать и живьем сжигать за то, что мыслит не так, как патриарх Иоаким, не годится, и что не по православным канонам уподобляться иезуитам, сжигающих еретиков с благословения святой церкви на кострах.

Ивана Слободского Гавриил отмечал за уменье кратко излагать события гражданские и церковные в летописи вологодской, за честность и справедливость.

— Рад бы помочь те, Иван, да и парня знаю: скромен и начитан зело, книжник.

— Спасибо, владыка, что не отвергаешь моей просьбицы.

— Не печалься, Иване, авось что-нибудь и придумаю. Мекаю съездить по Сухоне в соседнюю епархию — в Устюг, так вот надо мне мою архиерейскую ладью в порядок привести, буду рядиться с канатным хозяином, понял?

— Понял, владыко, позвать к твоей милости Чучина?

— Так я с ним потолкую. Неповадно архиерею сватать невесту, но уж возьму грех на душу. — И суровый архиерей улыбнулся.

У ворот Слободского терпеливо ждал пес. Года три назад соседский малец вел его на веревке к реке топить: пес загрыз куренка. Иван пожалел собаку, уж больно умоляюще смотрела, и взял в нахлебники. Пес так привязался к Ивану, что не мог и дня без него прожить. При виде хозяина Балуй умильно раскрыл свой зев и тонко, что не шло к его комплекции, взвизг-

нул — как будто засмеялся. Они пошли по Соборной горке на свое подворье.

В горенке Слободской присел к столу. Там — чернильница, песочница, чинно в песочницу воткнуты гусиные, по-разному заправленные перья. На поставце свернутые рукописи. Гавриил разрешил Слободскому иногда писать не в казенном приказе, а дома.

Раскрыл шероховатые листы рукописи. Кое-что записанное третьего дни вымарал. Была одна запись о монашке Корнильева монастыря: послушник Гаврасий непотребно обзывал отца игумена козлом вонючим, иудою и мучителем! Тот велел его смирить плетьми и посадить в земляную тюрьму. Гаврасий после наказания удавился в монастырском лесу. Вчера владыка прочитал сие и поежился:

— Верно, превысил игумен меру наказания, попеняю его, епитемью келейно наложу, но запись ты вычеркни, ведаю, что плох игумен, а где лучших возьмешь? Вызывал я трех священников из Белозерского уезда, мздоимцы и пьяницы, а один из них — Егор Воздвиженский читать грамотно не может, через пень-колоду несуразит. Горько мне, Иване, от таких попов...

И пришлось Ивану вымарать запись про Корнильев монастырь.

В летописи были сведения примечательные и о голоде в земле Вологодской, о повальном море, о воеводиных неправдах, и о цене на зерно и мясо, и о том, как при предшественнике Гавриила епископе Симоне строились каменные стены вокруг архиерейского подворья и как работали крестьяне: «ради единого хлеба, безденежно».

Много записей горьких оставил на рукописи «Летописца вологодского» Иван Слободской. Но были и сведения гордые о всей земле Московской. Вел их Иван от создания града Москвы: о Дмитрии Донском, о том, как северные дружины ходили на Куликово поле бить хана Мамая. Были записи и о великом государе московском Иване Третьем и о брате его Андрее Меньшом — удельном князе вологодском, что оставил удел старшему брату, и об Иване Васильевиче Грозном, возлюбившем град Вологду паче других городов и украсившем ее Софией и крепостью. Много было записано в летописи вологодской и хорошего, и печаль-

ного: о шайках Лжедмитрия и Тушинского вора, о воеводе Плещееве — любимце царя Михаила Федоровича, что град Вологду пожег, кроме посадов дальних. Записал Иван Слободской и о Дмитрии Григорьевиче Плеханове.

Чтобы отвлечься, прочитал Иван запись о «пещном действе», свершаемом перед рождеством только в трех соборах: в Москве — в Кремле, в новгородской и в вологодской Софии. Свершалось оно до второй половины семнадцатого века, и теперь его помнили лишь старики.

В «пещном действе» участвовали три иудейских царевича: Ананий, Азарий и Мисаил, ввергнутые в Вавилоне за отказ поклоняться идолу в огонь. Посреди собора ставилась печь из дерева в виде круглой открытой сверху башенки, внизу печи — горн с горящими углями и множеством свечей. Слуги вавилонского царя — «халдеи» спускали туда трех юношей, одетых в стихари и украшенных венцами, причем халдеи в красных одеяниях разговаривали между собой:

— Товарыщ! Это дети царевы?

— Царевы.

— Нашего царя повелений не слушают?

— Не слушают.

— И телу златому не поклоняются?

— Не поклоняются.

— И мы кинем их в печь?

— Кинем в печь и станем жечь.

Халдеи из железных трубок бросали в печь стертую в порошок и легко воспламеняющуюся траву плаун. Но тут в печь спускался ангел (его фигуру вырезали из двух сшитых кож и на них с обеих сторон писался лик ангела). Халдеи опять спрашивали друг друга.

— Товарыщ, видишь ли?

— Вижу.

— Было три, а стало четыре, а четвертый ликом грозен, как он прилетел, то нас и победил.

И отроков, прославлявших бога, халдеи выводили из печи со словами: «Грядите, царевы дети...»

Пес Балуй лежал в садике у окон горницы Ивана. Когда тот засветил свечу, Балуй поднялся на задние

лапы, положив передние на карниз, и залаял. Иван открыл окно, погладил пса, и тот, благодарно лизнув ему руку, снова успокоенный, лег на траву.

В другом конце города — на Козленой, в усадьбе Чучина, в светелке девичьей, у иконы, где мерцал огонек лампады, стояла Дуня. Надо отбивать семипоклонный начал, а она думала о подьячем Иване, и не шла на уста успокоительная молитва.

Не спал и молодой подьячий. Вышел на крылечко — и, вздохнув запахами сирени, травы и реки, задумался.

СВАТОВСТВО

Гавриил сдержал слово, данное Слободскому, и когда по вызову к нему приехал канатный мастер Чучин, принял его ласково и усадил на лавку. Поговорили о деле — надо к владычной ладье и на прочие баркасы канатов крепких. А затем владыка спросил:

— Скажи, Ефрем Андреевич, семья у тебя большая?

— Одна дочка, девица Авдотья.

— Женихи, поди, есть?

— Как не быть, владыка, я чать не нищий, Авдотья не перестарок.

— Ты, Андреич, кажись, старовер?

— Прости, владыка, ведаю, что не осерчаешь, живем по старой вере.

— Христос у нас один и вера одна — христианская, Ефрем Андреевич.

— Вестимо, батюшка, вестимо, — согласился Чучин, понимая, что неспроста завел с ним беседу Гавриил.

— Я к тебе, Андреич, хотя и не по чину мне, архиерею, сватом, — немного смущаясь и отводя глаза в сторону, сказал Гавриил.

— Честь великая! — Чучин встал с лавки и снова сел. — А жених-то кто?

— Мой подьячий из рода посадских Иван Миронов. Молод еще, а разумен, аки муж. Я его не оставлю

своими милостями, да дядя его, протопоп с Ленивого торгу, достатки имеет хорошие, так что жених не голяк.

— А знает ли молодец мою Дуню?

— Встречались они.

— Где же встречались? — недовольно буркнул Чучин и помрачнел.

— Не серчай, Ефрем Андреевич. Тут никакой порухи нет.

Разговор кончился тем, что Чучин согласился принять на дому Ивана и в присутствии Дуни выяснить отношения.

— Неволить едину дщерь не буду. Коли согласна — ей жить, а ежели не захочет за никонианца выходить — ее право.

На другой день Миронов приоделся и поехал на Козлену.

Иван в ворота чучинского дома не въехал. Соскочил с коня и, сняв шапку, чинно пошел к дому. Когда в дверях появился Чучин, Иван низко поклонился, пожелав хозяину и всем домочадцам здравия на долгие годы. Чучин провел молодого книжника в горницу и долго с ним беседовал, угощая медом и домашней снедью.

Ефрем Андреевич уважал людей грамотных, умных. С удовольствием заметил, что Иван и почтителен, и всей своей статью, видать, не робкого десятка. И чем дальше шла беседа, тем старый канатчик благосклоннее становился к Ивану.

— Ин, ладно, Иван, по нраву ты мне пришелся. Одна беда — не нашей веры. Пойду кликну Дуняшу. А молвить правду, от такого сына я не откажусь.

Дуня в светелке плакала. Ночью ей приснился страшный сон, будто старая-престарая монахиня присела к изголовью. «Авдотья, — сказала монахиня, — я с того света от твоей маменьки Анны Ильиничны. Божья душенька раба Анна не велела за никонианца выходить, а покрыть власы черным куколем и быть христовой невестой»... И старица исчезла.

Проснулась Дуня с криком, накануне же радовалась, когда отец поведал ей разговор с епископом. Думала, Ваня, видать, добрый, не обидит, а что — никонианец, то простит господь мою молодость и не осер-

чает богородица. Молиться буду по старине. Ваня препятствовать не станет, не таков он человек... И вдруг такой сон. Вещий сон, со старицей.

Ах, зачем приснилось, зачем! Разве сможет быть теперь она невестой архиерейского подьячего, разве не осудят ее силы небесные и маменька-покойница? Отец вчера ласково сказал: — «Надень, Дуня, монисты, колечки и сарафан шелковый!..» Теперь не надо надевать убранства.

Сидела Дуня в светелке, в стареньком сарафанчике зеленом и белой рубахе. И в таком виде была она мила, может быть, лучше, чем в шелку.

В светелку вошел Ефрем Андреич.

— Дуня, — улыбчиво проговорил, — Дуняша, женишок-то пришел. По душе он мне. Неволить тебя молиться по-своему не станет. Только свадьбу сыграет в церкви.

Дуня зарыдала.

— Ты что? — прикрикнул отец. — Что ты, Дуня, и не прибралась, и плачешь чего?

— Ах, батюшка, ах, родимый! Вековать, видно, мне вековухой, не иметь тебе, голубчик батюшка, внучат, а покрыть мне голову черным куколем.

И Дуня рассказала отцу про страшный сон.

— Чуешь, батюшка, не будет материнского благословения, свези ты лучше меня по большой воде в Тарногу, в обитель старицы Гликерьи, и буду я там в лесах за тебя господу богу молиться.

Чучин побледнел, сел на лавку.

— Ты что, в монахини? Отца оставишь? Для кого хозяйство сбирал? Для кого сундуки копил, денно и нощно трудился? Одумайся, Авдотья, сон твой не от бога, покойница Анна говаривала: «Дожить бы нам до внучат, вот счастье». Дурак я седой, отдал тебя на воспитание старице Сосипатре и сам ее слушал.

И стал старый вытирать кулаком глаза.

— Постыдись, Дуня! — поднялся и, не глядя на дочь, вышел из светелки.

Иван в большой горнице ждал решения своей судьбы. Отец долго не шел. Неужто отказ?..

Вошел Ефрем Андреевич. Сумрачный, глаза покрасневшие.

— Верно, догадываешься, Ваня?

— Догадываюсь, Ефрем Андреевич. Не судьба... Подьячий поклонился Чучину.

— Благодарствую, и нет тут твоей вины. — Опустив голову, пошел к выходу и не заметил, что из светелки выскочила Дуня, выскочила, как была в затрапезе, с косой распущенной, выскочила и бросилась ему на шею, обняла, плача и смеясь.

— Не уходи, Ваня, люб ты мне, буду тебе верной женой.

ТАЙНЫ МОНАСТЫРСКИЕ

Свадьбу молодых Мироновых справили скромно. В угоду старику Чучину при венчании соблюдали древние обряды: водили жениха и невесту посолонь, вино они пригубили из стеклянной чары и тут же раздавили ее в церкви каблуками. Молодых осыпали зерном и хмелем — все, как до Никона.

Жить молодые стали у дяди Михаила на Ленивой площадке, у церкви Вознесенья. Дом был поместительный, обжитой.

Ваня Миронов привязался к Дуне, да и та во всем угождала ему, а к своему старшему другу Слободскому Миронов питал такую благодарность, так старался быть полезным, что тот сказал:

— Ты, Ванюша, уж больно меня почитаешь, я есьм грешник, выпить люблю и во хмелю буен зело.

— Да что ты, Иване любезный, напраслину на себя наводишь, лучше тя не встречал человека, мы с Дуней по гроб твои должники.

Служил Миронов по-прежнему в архиерейском приказе. Однажды в ноябре вызвал Ваню в свои покои Гавриил, был он сердит, взволнован.

— Садись, — сказал, — вот к этому столу и пиши мой указ Кирилловскому архимандриту. Токмо о сем никому не болтай.

И Гавриил, сердясь и тяжело вздыхая, рассказал Миронову суть дела.

Молодая инокиня Марфа Горицкого женского монастыря родила мертвого ребенка и от родов скончалась. Такое в монастыре девичьем было остудой на весь иноческий чин.

— И по сему вывезть Марфу на дровнях за монастырь и закопать в берег безо всякого церковного отпевания и без провождения, и к церкви божией о ней приношения не принимать, и в синодик имени ее не писать. Игуменье Анфисе приказать начальную ее старицу, у которой она в келье жила, за то, что та, видя ее плутовство, укрывала, сковать на шесть недель, а после того смирить перед сестрами по монастырскому чину. Возьми грамоту и отошли со стрельцом в Кирилловский монастырь архимандриту Иосифу, и чтобы стрелец подождал отписки. Когда отписка придет, мне доложишь.

Через неделю пришла отписка. Миронов пошел с ней к владыке. Тому не здоровилось, лежал в постели.

— Ну прочти, что пишет архимандрит.

Ваня медленно и раздельно стал читать:

«Государю преосвященному архиепископу Гавриилу Вологоцкому и Белозерскому Кириллова монастыря архимандрит Иосиф челом бьет. По твоему, государь, архиерейскому указу о том, что в Воскресенском девичьем монастыре, что на горах, черницу Марфу вывезли и в берег закопали. А Никицкого монастыря черный священник Тихон подал челобитную, что черница Марфа ему на исповеди сказала — изнасиловал ее блудно монастырский наш черный поп Сергей Троицкой. Сей Сергей из монастыря от нас бежал безвестно, и в погоню за ним посылали, и сыскать нигде не могли, а как он, поп Сергей, где объявитца — мы велим его поймать и к тебе, государю епископу, будем о том писать».

Когда Миронов прочитал отписку Иосифа, Гавриил тихо молвил:

— Вот они какие, дела-то, Ванюша. Попа сего надлежит расстричь, и батогами нещадно бить, и к воеводе для суда светского направить.

— А как же, владыка, с покойной черницей быть? Велеть записать ее в синодик и крест над могилой установить? Не виновна она, выходит.

— Нельзя, — отвечал Гавриил, — все едино нарушение иноческого обета есть. И жалеть ее невместно тебе, сблудила сия Марфа, и нет ей прощения, нет... А теперь иди и помни — не разглашай сие.

Смутно было на душе Миронова, жаль и погублен-

ной молодой жизни черницы, и неприятно было слушать суровые речи Гавриила. Нет правды на земле!

Под большим секретом рассказал он об этом Слободскому.

— Как же, Иване, верить в добро?

Слободской положил руку на плечо Миронову:

— Нет, Ванюша, не прав ты. Правда не умрет. Годы пройдут, и она скажется, скажется, друже мой милый.

ЧУДО ВОЛОГОДСКОЕ

Два года украшала стенным письмом артель Дмитрия Плеханова храм во имя Софии-премудрости, и архиепископ Гавриил по обету, данному Плеханову, молчал, в собор заходил, зорко вглядывался в живопись и только на улице вполголоса говорил настоятелю собора Муромцеву и Ивану Слободскому, сопровождавшим его:

— Сей Плеханов не токмо иконописец отменный, а паче философ, — на что протопоп кивал почтительно.

— Истинно, ваше преосвященство, будет София украшением града и епархии и ваше имя вознесет.

Беспокоили Гавриила установка нового пятиярусного иконостаса и внешний вид собора. Иконостас строили долго и за образец взяли иконостас собора Троице-Сергиевской лавры, что сиял витыми золотыми колонками и виноградными гроздьями и чему удивлялись иноземцы. Покойный царь Алексей Михайлович умилялся виду лаврского иконостаса:

— Утешение сердец! — восклицал он.

Иконостас для Вологды делали знаменитые резчики Троице-Сергиевской лавры: бобыли Влас Федотов и Артемий Алексеев. В иконостасе надо было еще подновить местные иконы и не только подновить, но частью написать новые. Этот заказ передали вологодским иконописцам.

К окончанию стенописи в 1688 году собор выбелили, на пять глав собора устроили прорезные золоченые кресты.

Гавриилу желалось, чтобы и на колокольне звон был еще громче и слышнее, чем прежде. Не поскупил-

ся Гавриил: архиерейские и свои деньги вложил, заказав большой колокол в городе Любеке. Подрядчиком был голландской земли торговый человек Бансырь (Балтазар Фадемрехт). В июне того же года из архангельского порта колокол на дощанике прибыл в Вологду и был поднят на колокольню. Весу в колоколе 462 пуда 23 фунта, лит мастером Альбертом Бенинком. Деньги 2197 рублев 7 алтын и 4 денги выплачены за смертью подрядчика его вдове Юдифи. Дьяк, уплачивая деньги, жалел:

— Всю казну, владыка, истратите на Софию вологодскую.

— Не печалься, Иваныч, — сказал Гавриил. — Умрем мы, а колокол звонить будет.

— Оно так-то так, — покачал головою дьяк, — да ведь казна умаляется. На твой стол, ваше преосвященство, да на прислужников пришлось кое-что скостить. Отец казначей от денежного неустройства заболел, пожелтел.

— Ничего, — рассердился Гавриил, — монаху яство да питье постное, грибное полагается, а слуги архиерейские приобыкли к сигам, да к пирогам с белорыбицей. Насчет казны не печалься. Не нищие!

Лекарь Иоганн Фридрих Мейер после такого разговора ставил Гавриилу пиявки на затылок и кровь отворял.

— Вредно вам, милостивый господин, волноваться, годами вы не старик, а пообносились.

— Эх, Иоганн, Иоганн! Хороший ты немчин, а не знаешь, как тяжел омофор архиерейский. Ну да, ин, ладно. Расскажи, что на Москве слыхать, ведь ты оттуда недавно.

— Неспокойно, господин. В кремле все вершит царевна Софья, а государь Иоанн — я от его лекаря узнал — болеет почками...

— Умом болеет государь, сие важнее. Мы с тобой в палате вдвоем, значит, толковать можем без опаски. Иван Алексеевич хоть и первым в титле пишется, а слабенек. У Софьи Алексеевны ум зрелый, Василий Васильевич Голицын — оберегатель у ней в галантах. Опять-таки вельможа он зело велик и грамотен, но ни воинской доблести, ни счастья в правлении бог ему не дал. Крымский поход православным и государству

разорение. Вокруг царевны Милославские и другие родичи боярские. Поборы с народа удвоили, а все прахом.

— Дворяне и торговые люди на младшего Петра надеются, и немецкой слободе Питер Алексеевич люб. И забавы у молодого государя в Преображенском умные, кораблями интересуется.

— Да, ты прав, Иоганн, у царя Петра светлый ум. Когда он в законные лета войдет, много от него пользы державе будет. Патриарх Иоаким и тот его одобряет, хотя и косится на иноземцев.

— Придется, видно, принцессе Софии уступить Петру, — заключил лекарь и, чтобы отвести разговор от высоких особ, рассказал, как с согласия господина живописца Плеханова рассматривал фрески собора.

— Понравилось? — заинтересовался Гавриил.

— Господин Плеханов и его подручные совершили подвиг. Фрески пленительны. На куполе и ярусах сочетания цветов гармоничны. Все фигуры величественны, и самая великолепная фреска «Страшный суд». Я могу не соглашаться с тем, что художник уготовил ад для нас, иноземцев, но ад он уготовил и для многих вельмож. Главная сила в изображениях справедливости.

— Спасибо, коли так думаешь, — и Гавриил велел служке подать лекарю чару вина...

Лето... Погода ясная, солнечная, с ветерком. По небу кучевые облачка. Заново выбеленный собор сверкал новыми покрытиями на главах. Он был величествен, этот собор, имеющий форму почти правильного куба, с алтарем, который выдавался тремя полукружьями. Обширные порталы открывали вход в храм. На колокольне переливался ярко начищенный «звон», возглавляемый только что полученным из Любека «Большим Праздничным» колоколом. Тут красовались и любимцы горожан — колокола «Часовой» и «Водовоз великопостный» мастера вологжанина Карпа Евтихиева.

Шел осмотр стенной росписи. Гавриил пригласил не только духовенство, а и воеводу, воеводского дьяка, стрелецких сотников, именитых купцов и первостепенных горожан.

Когда архиерей в сопровождении приглашенных вышел из ворот подворья, звонари ударили в колокола, и бархатно зарокотал «Большой Праздничный», октавой «Великопостный», и весело заперекликались задорные зазвонные и перезвонные колокола, и взмыли с крыш голуби в голубое небо.

В соборе архиерея ждали подрядчик Дмитрий Плеханов, Илья, брат его и тридцать помощников. Все в праздничных кафтанах, волосы намаслены, бороды расчесаны. Они истово поклонились благословившему их Гавриилу.

Писаная крупной вязью надпись, опоясывающая три внутренние стены, сообщала:

«Начата бысть сия соборная и апостольская церковь Софии премудрости слова божия стенным писанием при державе великих государей и царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, всея великия и малыя и белыя России самодержцев, при святейшем Иоакиме — патриархе Московском и всея России благословением и снисканием благолепия в дому божии господина нашего преосвященнейшего Гавриила — архиепископа Вологодского и Белозерского, в лето от создания мира семь тысяч сто девяносто четыре, месяца июлия в 20 день, на память пророка божия Ильи, и во второе лето боговрученного ему святительства, и совершися семь тысяч сто девяносто шестого года».

Иконописцы в два года упорным трудом создали монументальное произведение живописного искусства. Сюжеты, воспроизведенные по библейским темам, передавали бытовые особенности не отдаленных времен, а семнадцатого века, что особенно заметно на фреске «Пиршество Ирода».

На мощных столпах, поддерживающих своды, написаны больших размеров великомученики и мученики, а на нижнем поясе канонизированные князья русские, среди которых Владимир Святославович Киевский и в черной схиме Александр Ярославович Невский.

Стенопись переливалась голубыми, алыми, золотисто-охристыми красками, как бы наполняя пространство собора и на сводах, на куполе, в осьмерике между окнами, в диаконике и на стенах — на каждой свой цикл изображений.

Тут на южной стороне можно увидеть «Изгнание Иисусом торгующих из храма», «Укрощение бури на озере Тивириадском», житие Марии, изображения четырех вселенских соборов. На северной стене запоминаются «Брак в Кане Галилейской», «Лазарь в раю, а богач в аду».

А во всю западную стену, властвуя над предстоящими, — картина страшного суда с четырьмя могучими архангелами, трубящими в золотые трубы.

Воевода, дебелый стольник, несмотря на лето, в тяжелом широком кафтане, спросил отца казначея:

— Отче, дивно зело сие рукописание. Красовито-то оно красовито, а сколько простоит?

Казначей, не любивший воеводу, притеснявшего архиерейских слуг и крестьян, все же вежливо ответил:

— Думаю, господин стольник, крепко будет, левкашено на густой извести и мелко избитом льне, а писано земляными красками. Двести лет простоит.

— Ой ли? — недоверчиво воскликнул воевода.

Западная стена понравилась и духовным и светским.

— Лепота! — закатив глаза, басовито прогудел пышноволосый иеродиакон из Духова монастыря.

— Господи, избави нас от геенны огненной, — истово перекрестился дородный купчина.

И грешники, и восстающие из плоти мертвецы, и немчины в круглых шляпах и кургузых костюмах — все вызывало интерес. Но больше всего воображение присутствующих поражал написанный в строгих тонах великолепный архангел в белом хитоне. Грозный, он как бы выходил из стены. В его фигуру, удлиненную, с могучими ступнями, изограф вложил и страсть, и весь запал своего творчества.

— Ну, владыка преосвященный, — лобызая руку Гавриила, сипел купец Никита Никифорович. — От всего града тебе низкий поклон и вековечная благодарность.

Обнимая Плеханова, дружески хлопали по спинам мастеров его артели. Звонили радостно колокола. На архиерейском подворье устроили богатый стол для почетных гостей и плехановской артели. Гавриил лично подарил Дмитрию Григорьевичу золотой нательный крест на цепочке.

Расстались друзьями.

На одиннадцати извозчичьих телегах за счет архиерея после молебна выехали иконописцы из Вологды в Ярославль.

Отец казначей положил в телеги прокорм: сулею меда крепкого, бочку пива, достаточное количество пирогов со снетками и молóками, пирогов с грибами, пирогов с горохом, хлеба подового и вяленой рыбы — судака, чтобы те иконописцы в дороге добрым словом вспоминали и Вологду, и Софию Вологодскую, и подворье гостеприимное архиерейское.

ПЕТР I И ГАВРИИЛ

Шли годы. И однажды...

«Через пять ден молодой государь Петр Лексеич имеет быть в Вологде, осматривать будет Кубенское озеро и все городские промыслы...» Два Ивана — Слободской и Миронов — доложили о царском приезде Гавриилу, тот обеспокоился, велел крестовую палату приукрасить, ковром застелить, столы дубовые поставить, а отцу келарю наказал изготовить в избытке два стола: скоромный—для государя и свиты и постный — для духовенства и монашества.

— А вы, други, — сказал Слободскому и Миронову, — будьте при мне, гостей московских встречайте, услужайте им и записывайте для летописи.

...Царь со свитой из преображенцев с неизменным другом Меншиковым выстоял молебен в Софийском соборе. Собор понравился царю. Петр на своих журавлиных ногах обошел его и вокруг и внутри.

— Велик и украшен зело!

В архиерейских палатах Гавриил угощал царя.

— Государь, окажи честь, выкушай еще чару.

Петр — в зеленом преображенском с красными отворотами мундире, ростом высок, лицо круглое, глаза навыкате, курнос и над пухлыми губами усики торчат:

— Окажу! — и лихо опрокинул в рот чару.

Петр расспрашивал вологодского воеводу стольника Ивана Кирилловича Захарова:

— Скажи, Захаров, сколько сажен в Вологде-реке глубина и сколько в Сухоне?

— Не могу знать, пресветлый государь, позапамятовал.

— А что ты знаешь, дурак? — закричал вдруг Петр, — насадили вас тут, кобелей, сидите на..., — загнул царь такое, что Гавриил печально опустил глаза, а молодые сержанты заржали на весь покой архиерейский.

— Изволь, стольник, к завтраму представить мемориал о глубине рек.

— Как прикажешь, царское величество!

Затем разговорился царь с бурмистрами и купцами.

— Державе Российской канаты нужны, баржи и все судостроение. Ты уж не гневись, отче, — обратился царь вежливо к Гавриилу, — покину твой двор, съезжу с бурмистром... на... как ты слободу назвал? Козлена?

На Козлене Петр обошел канатные мастерские, поговорил с каждым хозяином, пообещал льготы и велел больше изготовлять разного размера смоляных канатов. Чучина Петр обнял:

— Ты, дед, живи, державе еще пригодишься. Твои канаты и взаправду лучшие.

— Зер гут, зер гут! — залопотали иностранцы.

У пристани царь осмотрел строительство баркасов, зашел в смолокурню, где, голые, в одних портах, трудились работные люди.

Через день Петр с Меншиковым и иностранными инженерами выехал на Кубенское озеро для его исследования...

И во второй приезд (июль 1693 г.) царь зашел в Софию и на обед к Гавриилу. Принимал челобитные, осматривал город, с корабельщиками и мастерами-канатчиками встретился, как со старыми знакомыми. Снова София обедней встречала царя — свита из трехсот человек! — 4 мая 1694 года, и Гавриил опять обласкан Петром за то, что по его указу заготовил двадцать два дощатых карбаса.

Шла русско-шведская война. Даже в такое тяжелое время царь не забывал о вологодской Софии и приказал в начале нового по летоисчислению 1700 года произвести подробную опись собора, о чем Гавриилу сообщил царский секретарь Макаров, бывший посадский из Вологды, ставший впоследствии доверенным сотрудником царя, тайным советником и сенатором.

В Вологду епископу и воеводе приходили распоряжения о сборе колокольной меди и о постройке к весне 1702 года ста дощаников и сорока пяти барок... Вологжане поставили колокольную медь для пушечного и мортирного литья и корабли, за что последовали царские благодарности.

Ввиду дошедших до правительства слухов о намерении шведского флота идти в Белое море и напасть на Архангельск, царь приказал сделать еще двести двадцать пять судов, и чтобы каждая барка поднимала груз в четыре тысячи пудов.

— Откуда только я для государя корабли возьму? — уныло говорил воевода. — Всех работных людишек приписал к верфи, только на тя надежда, господин архиепископ.

— Нельзя волю государя нарушать, — отвечал Гавриил односложно.

И Слободской и Миронов разъезжали по монастырям епархии с владычными указами о посылке послушников и монахов, знающих плотницкое дело, в Вологду. Игумены монастырские злились, но посылали в Вологду и лес, и монастырских крестьян, и послушников.

На пристанях неумолчно скрипели пилы, звенели топоры. Кормили людей плохо, хлеба не всегда хватало. Рыба была до того протухшая, что посадские, проходя мимо, зажимали носы. А работа кипела. Опытные мастера отдавали распоряжения, ночью дымились факелы, в чанах кипела смола. К весне тысяча семьсот второго года корабельное строительство было закончено.

Кроме того, Гавриил, понимая, сколь необходима медь для литья пушек, снял во многих церквях и монастырях колокола для перелива на орудия. Петр благодарил Гавриила через своего обер-секретаря Макарова.

Март 1707 года выдался простудным, с короткими оттепелями, резкими ветрами, метелями.

Гавриил тяжко занемог, кашлял, ноги отекли, дышал прерывисто. Лекарь Иоганн Мейер каждый вечер ездил в архиерейский дом.

В конце марта, еле передвигаясь, поддерживаемый служками, Гавриил дошел до Софии, дабы в последний раз взглянуть на стенопись Плеханова. Долго простоял он у фрески «Страшного суда», с неимоверным восхищением смотрел на мощного трубящего архангела. Смотрел, не утирая слез с морщинистого лица.

— Прости мя, господи! — воскликнул и опустился на колени, простершись ниц.

Обратно в покои отнесли Гавриила в кресле.

В ночь на 30 марта у владыки началась агония, а к утру он скончался. Похороны, как и подобает, были пышными. Вологжане искренне оплакивали Гавриила. Когда Петру сообщили о кончине Гавриила, он сказал сожалеюще:

— Добрый помощник был. Таков, как Афанасий Архангельский!

В Софийском соборе Гавриила положили под спуд и учинили надпись: «Преставился великий господин преосвященный Гавриил и погребен на сем месте».

...Весной 1725 года Вологду снова посетил Петр. Больной ипохондрией, возвращался с олонецких минеральных вод. С ним была императрица Екатерина Алексеевна. Петр, как всегда, остановился в каменном домике вдовы-голландки Гутман.

Государя лихорадило. Он отказался от официальных приемов, но все-таки вместе с женой посетил Софийский собор. Затем, отправив Екатерину на квартиру, зашел к архиерею.

— Да, — сидя за угощением сказал, — поизносились с тобой, Павел. Видать по всему, пора туда, где несть ни болезней, ни воздыханий.

Потребовал огня, набил из кожаного кисета табак в трубку, закурил.

— Ваше величество и мыслить о сем не можете, — воздел руки к небу Павел. — Без вас отечество осиротеет. Нас грешных легко заменить, а ваше величество кто сменит?

— То-то и оно, отче Павел!

Мрачно встал, прошелся по залу, походные медные шпоры брякали на грязных ботфортах.

— Ну, прощай. Авось еще побываю в Вологде.

Надвинул на глаза треуголку и вышел из покоев архиерейских.

Больше, однако, Петру Алексеевичу не пришлось побывать на Севере. Как памятник преобразователю России остался в Вологде каменный домик Гутмана с низенькими потолками и кафельными печами.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В 1848—1850 годах производилась в Софии реставрация стенописи Плеханова. Ею руководил епархиальный ярославский художник А. Колчин. Деньги на реставрацию собора были собраны от добровольных пожертвований церквей и населения губернии.

Историк-археолог Н. И. Суворов в книге «Описание вологодского кафедрального Софийского собора», изданной в 1863 году, так описывал состояние фресок: «Стенная живопись, существуя 160 лет, от самой продолжительности времени во всем храме сделалась бледна, померкла в цвете, потеряла вид, а снизу на стенах от сырости стала и вовсе повреждаться и с отпадающей штукатуркой уничтожаться; чугунный пол опустился, огромный иконостас по причине опустившегося пола дал наклон, иконное письмо от давности значительно потемнело и частью облиняло».

Художник Колчин и его помощники, среди которых были и палешане, в конце лета 1850 года представил законченные реставрационные работы суждению комитета, куда входили официальные лица и представители цеховых мастеров иконописи. Комитет работу одобрил «как по прочности, так и по качеству кисти».

Стенопись сделалась действительно «свежее и ярче», но художник Колчин не обладал талантом Плеханова, его «настроем», лиричностью. Реставрация нарушила красоту стенописи, цвет стал намного грубее. Об этом немало писали ученые и искусствоведы. В угоду пожеланиям заказчика некоторые изображения Колчин изменил.

Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов собор как памятник искусства был открыт и его посетили тысячи солдат и офицеров, отправляющихся на фронт.

Сейчас вологодская София реставрирована. Сняты неуклюжие тамбуры, портящие внешний вид,— откры-

лись изумительные входные порталы. Вместо четырехскатной крыши — изящные закомары. Даровитые реставраторы укрепили и расчистили фрески Плеханова, вернули им первоначальную прелесть.

Собор предстал во всем своем прежнем великолепии.

В белую теплую ночь весной выйдите к Соборной горке — взгляните на Софию вологодскую. Прислушайтесь, как она дышит могучим каменным телом, как блестят ее главы и как мелодично отбивают четверти часы звонницы.

Или пройдитесь мимо Софии в ослепительный солнечный день зимой, когда удивителен снег на главах собора и когда особенно чувствуется История. Как будто вот-вот раскроются тяжелые двери — и в портале покажется, в окружении черных опричников, в охабне, в меховой шапке с железным посохом во властной руке, основатель собора — грозный царь Иоанн Васильевич Четвертый.

Пройдитесь мимо собора и вспомните также художника ярославца Дмитрия Плеханова, скромного вологодского летописца Ивана Слободского, старца Гавриила — всех тех, о ком эта маленькая повесть, тех, кто с великим тщанием и любовью украшал Софию Вологодскую.

РАССКАЗЫ,
МИНИАТЮРЫ



ГОСУДАРЕВ ГНЕВ

Осень в купеческой Вологде была предождливой: глина расползалась под сапогами и чавкала.

В летнем царском деревянном дворце[1] в узких окошечках еле мерцал свет. В домашнем храме звонили в малый колокол. Звон колокола казался жалобным и хриплым.

На воде у Известной (известковой) горы стояли баржи, а на самой середине реки на утлой плоскодонке рыбак, накрывшись поверх зипуна рогожей, безнадежно закидывал рваный невод.

Стрельцы в алых кафтанах, с алебардами в руках, дежурившие у государева крыльца, от холодного пронизывающего ветра нахохлились, мечтая о чарке водки и подовых постных пирогах.

Шел дождь.

Работные люди, измызгав в грязи порты, уминая лаптями скользкий настил мостовой, подвозили на тачках к городской крепости известь и песок. Крепость перекошенным четырехугольником опоясывала город.

Стены крепости тянулись более чем на тысячу двести сажен, а тридцать две башни следили за кон-

[1] Дворец был построен на том месте, где теперь находится здание педагогического института по ул. Маяковского.

ным и пешим, приближавшимся к крепости. На башнях ходили стрельцы, вооруженные пищалями. Денно и нощно перекликалась башня с башней: «Славен Великий Устюг!», «Славен град Вологда!», «Славен град Москва!»

В Гостином дворе, в купеческих лавках и на складах товару всякого — и своего и заморского — не перечесть. Богатая была Вологда. Недаром взял ее государь Иван Васильевич в опричные города и «возлюбил, аки перл драгоценный».

В этот осенний день утопавший в непролазной грязи город был неприглядeн и хмур. Хмур был и царь всея Руси Иван Васильевич Грозный. В окружении опричников он вышел на крыльцо.

— Мерзость запустения!..— молвил он.

Грозному было тогда около сорока лет. Осанистый, с выразительными властными глазами, он выглядел старше: лицо изборождено морщинами, а борода уже покрылась сединой. Царь был в темном кафтане, а на голове плотно сидела сафьяновая, отороченная собольим мехом шапка. Рука его опиралась на тяжелый с острым наконечником посох.

Вчера вечером приближенный дьяк Василий Щелкалов[1] читал Грозному секретные грамоты из Новгорода Великого. В них сообщалось, что новгородские бояре и архиепископ Пимен принимали знатных псковичей, разговор вели об измене Москве и о переходе на сторону литовского короля, что якобы в этом деле замешан ближайший опричник государя, князь Афанасий Вяземский[2]. Афанасий три дня назад приехал в Вологду из Новгорода, куда был послан для набора ратников. Теперь Иван Васильевич нарочно не показывал виду, что знает о его измене и, повернувшись к нему, сказал:

— Афанасюшка! Пойдешь со мной, Василием Яковлевичем и владыкой Антонием[3] в собор.

---

[1] Щелкалов В. Я. с 1569 года находился при Грозном. Талантливый и умный царедворец, он пользовался безграничным доверием Ивана Васильевича.

[2] Вяземский Афанасий отличался невероятной жестокостью. Позднее по новгородскому делу и был казнен. Карательный поход на Новгород и Псков состоялся летом 1570 года.

[3] Антоний — епископ Вологодский и Великопермский (похоронен в Софийском соборе).

Пристально поглядел на остальных:

— Коли хотите, и вы ступайте.

Пятиглавый Софийский собор даже в такой пасмурный день был светел и величав. Царь щедро, не жалея казны, заботился о его постройке. Хотелось Ивану Васильевичу, чтобы Софийский собор был украшением его царства, чтобы затмил он новгородскую Софию, чтобы выглядел не хуже Московского Успенского собора,— и добился того: со своими закомарными перекрытиями, строгими узкими окнами и большими входными порталами вологодская София была подобна чуду.

Стрельцы подкладывали доски под ноги государевы, чтобы не замарал пресветлый царь зеленые сапожки. У храма толпились старики-каменщики в коричневых армяках. При виде Грозного они сбросили с лохматых голов заячьи треухи и низко поклонились. Иван с ними поздоровался. В ответ пронеслось.

— И ты будь здрав, царь-государь!

Крестясь, вошел Грозный в сырость каменного собора, где, несмотря на зажженные восковые свечи, был полумрак. Стены еще не покрыты росписью, и епископ Антоний громко молвил:

— Как прикажешь, великий государь, из Устюга или Ярославля изографов звать?

Царь сдвинул брови:

— Ты архиерей, тебе и решать!

И вдруг кусочек кирпича оторвался от свода и упал на царскую голову. Он был очень мал, этот обломок, но голова у Ивана Васильевича была обрита и удар был неожиданным,— царь вскрикнул. Ему показалось, что сделано это с умыслом.

— Смерды!— стукнул он посохом по земле.— Разорить к утру соборную постройку, чтобы камня на камне не осталось!..

— Не волнуйся, великий государь,— вкрадчиво сказал Афанасий Вяземский.— Твой указ самолично догляжу, а каменщиков, что верхнюю кладку клали,— в мешок и в реку, пускай вологодских ершей кормят!

— Хорошо, князюшка,— зло засмеялся царь.— Кому на роду написано — вологодских ершей, а ко-

му — в Волхове новгородских щук кормить. Чуешь, Афанасий?

Вяземский побледнел.

Вологодский губной староста, двое зодчих и епископ Антоний упали на колени:

— Смилуйся, государь, смилуйся, пожалей нас, верных твоих сирот, не вели храм зорить!

Долго кланялись в ноги царю. Наконец Иван Васильевич несколько поуспокоился. Ему и самому стало жалко такой дорогой постройки. Вспомнил, что надо торопиться в Москву, а оттуда в Новгород — бояр новгородских да владыку судить за измену страшную. Сказал:

— Ин быть по-вашему, но до моего повеления соборную церковь не освящать.

Взглянул на Вяземского:

— Со мной поедешь в Новгород,— вышел мрачный из собора. Велел подать коня. Помчался крепость осматривать, пугая по дороге встречных и поперечных. А после обеда и молебствия выехал в крытом возке из города, посадив рядом с собой Щелкалова [1].

Окруженный опричниками и верховыми стрельцами, царский поезд навсегда покинул Вологду. Афанасий Вяземский ехал в одиночестве, но под бдительным приглядом стрелецкого сотника.

Грозный сидел в повозке насупившись. У ближней вологодской деревеньки спросил Щелкалова:

А что, Яковлевич, жаль бы тебе было Софии?

— Жаль, государь,— ответил дьяк,— красота-то какая!

Накрапывал дождь. Возок государев трясло на ухабах. Стрельцы зажгли смоляные факелы, и в сгустившихся сумерках зловещим казался их свет.

---

[1] Этот неожиданный отъезд Грозного послужил темой известной народной песни, записанной в Вологде в 1841 году профессором М. П. Погодиным.



ПЕТР НА СУХОНЕ

Летним погожим днем народу на пристани — не протолкнешься. Реку Вологду загромождали баркасы, пахнущие лесом и смолой. На большом корабле поблескивали пушки, суетились солдаты в зеленых мундирах и матросы в синих мешковатых кафтанах.

Под залпы мортир, подняв охристый московский флаг с пузатым двуглавым орлом, корабль снялся с якоря и двинулся на веслах по реке Вологде на Сухону.

Молодой царь — в простой, грубого сукна куртке, на черных волосах — голландская морская кожаная шляпа. Попыхивая трубкой, стоял он у борта.

По обоим берегам Сухоны сплошной стеной сосновый бор.

— Макаров! — крикнул Петр.

К царю подбежал юноша в коричневом кафтане. У него было обветренное широкое скуластое лицо с маленькими серыми пронзительно умными глазами. Он снял с головы треух и почтительно:

— Что изволите, ваше царское величество?

Петр насупился:

— Кой раз вам приказываю, что токмо на церемониях именовать меня по титулу.

— Звиняюсь, Петр Алексеевич, запамятовал.

— Ну то-то. Скажи мне, сколь обширны здесь леса? Смотрю и мыслю — леса впрямь мачтовые, корабельные... И еще: какая рыба водится и что за тотемские соляные варницы?

Макаров — посадский из Вологды, хорошо знавший и грамоту и письмо, был примечен Петром еще в 1692 году. Что его ни спроси — все знал молодец: и как шлюзы строить, и как планы снимать, и какова история земли Вологодской. Недаром Макаров дружил с летописцем, служащим в Вологде у архиерея, Иваном Слободским.

И сейчас, стоя рядом с Петром, Макаров весело, непринужденно, что особенно нравилось Петру, рассказывал и о сухонской нельмушке, и о лесах, и о том, сколько и какого зверя в них обитает, и о соляных варницах, где работный люд мрет как мухи.

— Поистине, Петр Алексеевич,— говорил Макаров,— приказчики и надсмотрщики там — волки лютые. Не токмо тело, а и душу вынимают из людишек, что по осьмнадцать часов в сутки работают...

Петр помрачнел, маленький рот сложил в трубочку, свистнул:

— Вот ужо сам погляжу...

— Поглядите, поглядите, все едино легче не станет...

— Несуразицу плетешь, Макаров! Несуразицу!— и отвернулся.

В каюте капитанской накурено — не продохнешь.

Петр налил в оловянную чарку «романеи», что отдавала сивухой, закусил белозерским сущем.

— Алексашка! Ты уху рыбацкую едал?

Александр Данилыч Меншиков — пригож, затянут в мундир, на шее жабо кружевное, чисто выбрит, глаза бирюзовые, пальцы с длинными ногтями унизаны кольцами.

— Мальчишком едал, Петр Алексеевич, в Покровском на озере карасей ловили. Ух, караси! Не поверишь, господин адмирал, таких и у вас — в Немецкой слободе — на фриштык не подают, огромные карасищи, в сметане.

Франц Яковлевич Лефорт ласково:

— Вам, Александр Данилович, можно лишь позавидовать!

— Нет, Алексашка, рыбацкая уха — не караси в сметане! — засмеялся Петр, — не едал ты ее. Авось до Тотьмы ушицы попробуем.

И попробовали. Углядели деревушку, а на берегу сети на кольях сушатся, и мужики бородатые, лапотные, у лодок.

На шлюпке, захватив бочонок рома, поплыли к берегу.

Мужики, встречая гостей, кланялись и притворно ахали, — знали, чем больше удивления, тем тороватее гости будут.

— Пожалуйста, батюшки-бояре, сейчас мы неводишку закинем!

— Вы поскорее, черти, нам недосуг! — торопил Петр.

Тогда седой рыбак с бельмом на глазу сурово:

— Ты, парень, чертей-то не собирай, а ежели недосуг, то скатертью дорога.

— Ты потише, дед, — прикрикнул Александр Данилыч, — с царем разговариваешь!

Старик поклонился Петру:

— Прости, государь! Не чаял в таком обличии царское величество видеть.

— Ладно! — махнул рукой Петр, — невод закидывайте...

И уже дымился костер, и в большом закопченном чугуне кипела уха из нельмы, окуней и язей. Запах шел такой дразнящий, что не выдержал царь: щербатой ложкой зачерпнул, попробовал, обжегся, глаза выкатил:

— Эх и уха знатная, Алексашка! Не чета твоим карасям в сметане.

Хлебали уху, угощали рыбаков ромом. Подошли жонки, им тоже Петр приказал поднести по чарке, а на прощание подарил деду серебряный рубль — целое состояние.

...Перед Тотьмой царь переоделся в мундир, натянул ботфорты со шпорами, опоясался портупеей со шпагой.

Встречали тотьмичи торжественно. Служили в соборной церкви молебен, а затем угощали. Петр и сви-

та пили много, за столами шумели и веселые непотребные истории рассказывали при мужних женах, коих царь велел привести на обед. За ними особливо ухаживал Александр Данилыч, именуя их неведомыми прозвищами — «венер» и «цирцей», чем причинял конфузию.

На другой день гости посетили Спасо-Суморин монастырь. Съездил Петр и на соляные варницы, что на берегу речки Ковды.

Варницы произвели на него тяжелое впечатление. Полуголые людишки в грязных домотканых портах вываривали соль, поднимали из варниц тяжелые бадьи. От разъедающей соли, от неимоверной жары глаза у работных покрасневшие, воспаленные, гноятся, на теле язвы.

— О, дорогой Питер, это напоминает преисподнюю! — ужаснулся Лефорт.

Приказчики услужливо поддерживали Петра за локти, чтобы упаси боже, пресветлый государь не свалился в яму, а по сухому, по мосточкам прошел.

Солевары кланялись царю, а на придворных смотрели исподлобья, их приветствия были вымучены: сзади стояли хожалые и десятники с палками для поднятия народной радости.

— Чем мужиков кормите? — спросил старшего приказчика царь.

— Да чем, ваше величество, соленой рыбкою, квасом, капустой, редькою, а в праздники — толокно с конопляным маслом.

— А ты, небось не редьку жрешь! — посмотрел Петр на гладкое, сытое лицо приказчика, — видишь какое хайло, все одно что игуменское седалище. Пришлю дьяка из Москвы, дабы ваше воровство выявить.

— Мы вашего величества холопы, как велишь, так и будет!

Царь самолично поднял тяжелую бадью с соляным раствором, вспотел страшно, мускулы напряглись. Вытащив бадью, протянул ладонь:

— Эй, главный, уплати!..

Приказчик из кошеля высыпал серебро на царскую руку. Петр подбросил серебряные монеты, и они рассыпались у ног приказчика.

— Ты мне уплати — сколько им платишь!

Приказчик побледнел, но не посмел ослушаться.

Царь взял медяк и бережно положил в карман камзола.

— Дорогая деньга! — сказал Меншикову.

К исходу четвертого дня пребывания в городе пошли дальше. Петр с корабельного мостика смотрел на Тотьму. Дома и церкви утопали в пышной зелени. Улицы тянулись на взгорье, а с соборной звонницы мягко и весело перекликались колокола.



ИЗОГРАФ

Лысый протопоп, снимая епитрахиль, сердито спросил:

— Доколе своей образиной храм божий пакостить будешь?

Человек в коричневом кафтане, с лицом желтоватым, бритым и тоскливыми глазами, резко ответил:

— Доколе не сдохну.

В храме было холодно, сыро. Сквозь решетчатые окна сочился белый туманный рассвет. Он казался молочным и слабо освещал стены храма. От этого молочного полусвета блекли переливчатые тона красок на фресках. Синие, пурпурные, золотисто-лимонные, они уходили к церковному куполу и там замирали.

Протопоп важно пошел к выходу, снисходительно отвечая на поклоны редких прихожан. Старый дьячок в заплатанном черном подряснике торопливо гасил мерцающие лампадки. Высокий худощавый ктитор, с козлиной бородкой, в сером кафтане, недовольно пересчитывал свечную выручку.

Протопоп подошел к нему и густой октавой спросил:

— Скудная лепта, Петрович?

Ктитор, что не шло к его высокой фигуре, тоненькой фистулой ответил:

— Гроши, отец протопоп!

Человек в коричневом кафтане вдруг засмеялся. Смех гулко отдался в стенах храма.

— Ты это чего, еретик? — удивился протопоп.

Человек посмотрел на купол. Там в сером тумане плыли золотистые кони, невиданные цветы и веселые святые.

— На косушку хватит? — и человек протянул руку к ктитору.

Тот плюнул в сторону.

— Иди, иди, — как-то испуганно проверещал он. — Иди, ради Христа!

Человек надел на растрепанные белесые волосы смешную рыжую треуголку и торопливо пошел к выходу. Вслед ему протопоп уронил:

— Пускать не след анафему!

Большая площадь тянулась от церкви к низеньким пузатым деревянным домишкам. Рыхлый талый снег хлюпал под ногами. По-весеннему кружились галки и вороны над обнаженными деревьями.

Засунув руки в карманы, человек шел по площади.

На углу был кабак. Человек дернул дверь, и его обдало запахом сивухи и пирогов.

* * *

...Был год тысяча семьсот двадцать четвертый, март.

Ранним утром, прыгая на снежных ухабах, кожаная кибитка со слюдяными оконцами неслась к Вологде по Олонецкой дороге. Возница в овчинном полушубке, привстав на облучке, дико гикал на лошадей. За кибиткой едва поспевали сани: в них, подняв воротники полушубков, сидело двое преображенских солдат.

В кожаной кибитке было полутемно и стоял густой табачный дым. В неудобной позе — велик ростом — сидел пожилой мужчина, закутанный в меховой плащ. Треуголка от толчков сползла на ухо. Черные пряди волос лезли в глаза. Щетинистые усы двигались. В другом углу, в шубе и меховом чепце, дремала полная женщина.

Глаза мужчины закрыты. Вот он открыл их, и, черные с желтизной, они по-орлиному вспыхнули и снова закрылись.

Мимо мелькнули белые стены монастыря со сказочными башнями. На башнях сидели вороны и по-весеннему каркали. Снег мокро шлепал, отскакивал от конских копыт. Промелькнули пригородные амбары, постоялые дворы, каменная тюрьма, и по деревянному мосту кибитка ворвалась в город.

Церкви с золотистыми главками, церкви с синими куполами, церкви с шатровыми колокольнями стояли над тишиной деревянных одноэтажных и двухэтажных домиков.

Ближе к центру тянулись каменные палаты купцов, вросшие в землю лавки. Над всем городом царил великолепный белый собор с венценосным золотом пяти шлемов.

* * *

Человек в коричневом кафтане вышел из кабака. Его широкое лицо с мясистым носом и полными красными губами оживилось. Серые глаза смотрели уверенно, и старая треуголка с повисшими краями надета уже залихватски набекрень. Он остановился на крыльце и посмотрел на церковь. Золотая луковка храма смело вонзала блестящий крест в серое небо.

— Ишь, куда лезет!..— сказал человек.

В молочном тумане послышалось гиканье ямщика и конский топот. Взмыленная тройка остановилась у крыльца кабака.

Дверцы кибитки раскрылись, и показалась фигура высокого пожилого мужчины в меховом военном плаще. Он выпрямился во весь рост, плащ спустился с правого плеча, и закраснели отвороты зеленого мундира.

И тогда человек в коричневом кафтане взглянул в лицо военного. Кроме глаз, он ничего не видел. Глаза орлиные, черные, с желтоватым блеском.

Старая, с обвисшими краями треуголка сорвалась с головы. Белесые растрепанные волосы взметнулись по ветру.

— Узнал! — сказал военный густо и хрипло. И вздрагивающее в ответ:

— Узнал, ваше величество!

— Ну, коли узнал, тащи чарку анисовой и крендель!

Человек метнулся в дверь, забыв поднять треуголку. Через минуту он выскочил обратно. За ним бежал кабатчик, держа на подносе большую оловянную чарку с вином и крендель. Царь взял чарку, выпил, отломил кусок кренделя, обтер обшлагом рукава губы и бросил серебряный большой рубль на поднос. Затем, поворотясь к человеку в коричневом кафтане, спросил:

— Из каких будешь?

— Изограф, сиречь мастер живописного дела,— прозвучало в ответ.

— Добро,— сказал царь,— Приходи ко мне на подворье.

Когда лошади отъехали, живописец поднял треуголку и, глядя вслед кибитке, тихо, как бы не веря себе, проговорил:

— Государь Петр Алексеевич!..

Его лицо просияло, и он почти побежал по мокрому лежалому снегу по направлению к церкви, все время повторяя:

«Государь Петр Алексеевич...»

* * *

Когда живописец снова вошел в церковь, там никого не было, кроме дьячка. Положив на скамью кусок дерюги с толченым кирпичом, он начищал подсвечники. Работал с увлечением, любуясь сверканием красной меди.

В церкви стало светлей. Притушенные утром росписи сейчас по-молодому переливались радужными нежными тонами.

Дьячок, на мгновенье оторвавшись от своего занятия, взглянул на пришедшего живописца:

— Чего делать будешь?

— Государь Петр Алексеевич седни прибыл в Вологду,— сказал живописец.

— Ну? — спокойно произнес дьячок. — Как ему ездить-то не прискучило?! Годами, почитай, на шестой десяток пошло, и все спокою нет! — И укоризненно: — Прежде государи настоящие из палат царских не вылазили!

И опять усердно зашаркал суконкой по подсвечнику.

— А чем он не настоящий? — спросил живописец.

— Чем? — нехотя молвил дьячок. — И обличием, и рылом скобленым. Антихрист не антихрист, а вроде того! — И, уже не обращая больше никакого внимания на живописца, перешел к другому подсвечнику.

Живописец стоял посреди храма и смотрел на росписи. Каждый раз, глядя на эти живущие на стенах фрески, он не верил, что они созданы им. Казалось, кто-то другой, сидящий в нем, вдохнул жизнь в эти синие, золотистые, голубовато-нежные и пурпурные краски. Он ощущал движение фигур, бег золотистых коней, красоту невиданных арок, за́мков, шелест ярких деревьев, запах лимонных яблок и свежесть перламутровых небес.

Вон там упоенно пляшет Саломея в сарафане московской боярышни. Алым фонтаном брызжет кровь из усеченного тела Иоанна Крестителя. Мудрый Соломон поет «Песню песней», и восемь львиц лежат на ступенях его мраморного трона.

Живописец поднял голову к куполу: золотой конь плыл по голубому своду. Гибкая смуглотелая Ева подавала яблоко Адаму. И было видно, как, нарушая библейские заветы, Адам не обреченно, а радостно протягивал руки к мерцающему желтому плоду.

Кружились в белых с синими разводами плащах серафимы, и, утверждая жизнь, упруго поправ пурпурные облака, трубили в серебряные трубы веселые архангелы.

А с купола взирал Саваоф и удивлялся, как и сам художник, этому яркому языческому празднеству плоти и жизни.

Живописец смотрел, и мягкая улыбка скользила по его губам. Новые, еще не собранные, но уже ощутимые образы готовы были воплотиться в сочетаниях красок. И хотя в храме было холодно и сыро, он чувствовал согревающее биение своего сердца.

* * *

Петр Алексеевич вышел на крыльцо. Влажный весенний воздух. Сумерки. Талый снег. Обнаженные деревья. И проступающая сквозь пухлые облака луна.

Курил и смотрел, как струйка дыма таяла в вечернем воздухе. За эти два дня он устал от приемов городских властей, попов и обедов.

От комнат, низеньких, с теплыми голландскими печами, от давящей обстановки чинно расставленных парадных стульев, пузатых кофейников и вышитых салфеточек с цветным нерусским узором, тоска становилась еще сильнее. Даже присутствие больной жены, ее разговоры с хозяйкой дома, старой голландской вдовой Гутман, раздражали. Сердце билось неровно, прерывистыми ударами. Чувствовал, что нижняя рубашка влажна от пота. Подумал: «Не помогли Марциальные воды...»

По талому снегу вышагивал солдат в полушубке, со старой алебардой в руке. Царь, взглянув на него, сказал кратко:

— Пошел вон, дурень!

Солдат испуганно поднял алебарду, для чего-то взял ее на плечо и попятился задом.

— Дурак,— сказал царь.— И на солдата не похож, Аника-воин.

Вспомнил, как посетил епископа Павла. Не узнал владыку: оплешивел, поглупел и растолстел. Когда в Петербурге от купели дочь Лизу принимал, был густоволосым, чернявым, веселым. Вздохнул: «На других посмотришь и поймешь, что годы назад не ворочаются». Трубка зло засипела — кончился табак. Царь выколотил золу и сунул трубку в карман.

На берегу, внизу за обрывом, молодой бабий голос запел: «Эх ты горе, горе горькое». К нему присоединился густой бас: «Горе горькое...» Голоса плылы над хмурой седой рекой красиво и печально. Эх, и тяжело мне, сиротинушке»,— поднимался выше женский голос.— «Без родного батюшки и без матушки»,— вторил ей бас.

— Хорошо поют на Севере,— проговорил царь.

Совсем близко прохлюпали шаги. Прохлюпали и остановились.

— Ваше величество,— послышался тихий голос.

Царь, не удивляясь спросил:

— Кто пустил?

— С берега реки до вашего величества пробрался. С городу-то охрана стоит.

— Это ты, живописец?

— Я,— прозвучало в ответ, и просяще: — К вашей милости государевой!

Передохнул и жарким шепотом:

— Червь и прах — перед лицом вашего величества, червь и прах.

На царя пахнуло запахом вина.

— Но мыслить, государь, с измальства приучен, а окрест меня одни каменья, хоть голову расшиби — не поймут.

— Чего просишь? — царский голос был суров.

— Правды взыскую!

— Какой? И где ее предел?

— Несть предела. Правда конца и начала не имеет — всевечна она.

Царь засмеялся. Смех был колюч и резок.

— На чем правду утверждаешь?

— На претворении жизни!

— А как сие претворяется?

— Ваше величество претворяет ее славными деяниями, а яз недостойный — ремеслом своим. Каждый по своему разуму отечеству служит.

— И претворил?

— По силе своей претворил, а никто и знать про то не хочет. Велегласно смеются, перстами тычут, аки на разбойника. Я, государь, расписал храм Ивана на Рощенье. Душу всю выложил, а одиноким остался.

Царь спросил повелительно:

— Толком скажи, чего надобно?

Человек упал на колени в снег:

— Пойдем со мной, государь, в храм, недалече тут, посмотришь...

И ответил просто царь:

— Пойдем!

За обрывом на реке певцы заканчивали: «...Не сыскать мне, бедному, талан-счастия, коль на сердце спрятано горе горькое...» И как бы подтверждая это, мужской голос уронил: «Горе горькое...»

* * *

Долго будили в сторожке дьячка. Старик после всенощной спал крепко и проснулся нехотя. Надел стоптанные валенки, накинул подрясник на исподнее.

— Иисусе Христе,— зевая, проговорил он, высовываясь за дверь. Увидел солдата с алебардой, за солдатом стоял живописец и рядом с ним исполинская фигура в меховом плаще и военной треуголке.

— Чего надо?— грубо спросил дьячок.

Но когда солдат цыкнул на него, старик оробел:

— Прости, Христа ради.

Живописец подошел ближе и тихо на ухо дьячку:

— Государь тут. Бери ключ и отворяй храм.

Дьячок, взглянув на высокую фигуру, стремительно бросился в сторожку за ключом.

— Господи,— шептал он, разыскивая ключ.— Господи, спаси!

Через несколько минут тяжелая церковная дверь растворилась, и царь вошел во мрак, сырость и холод каменного здания.

Дьячок высек огонь, затеплил огарок и от него стал зажигать лампадки. И по мере того, как свет распространялся по храму, оживали, переливаясь, краски на стенах.

— Сим утверждаю!— дрожащим голосом сказал живописец, указывая рукой на фрески.

— Утверждаешь правду жизни?..— спросил царь.

Он стоял, высокий, не снимая треуголки. Лицо было недовольно, обрюзгло, и темные, с желтизной глаза смотрели поверх головы живописца.

Манящие улыбалась Саломея. Фонтан крови из усеченной главы Крестителя радостно вздымался кверху. Трубили в серебряные трубы попирающие облака архангелы. Пел «Песню песней» Соломон, и грациозные львицы простирались у его ног.

Зажженные паникадила, колеблясь от сквозняка, двигали фигуры на стенах, и, оживленные в гармонии красок, они кружились перед взором царя, а сверху, с купола, смотрел на них Саваоф и удивлялся.

Царь поднял голову и, взглянув на лик Саваофа, усмехнулся:

— Зело отменно!

Смех отдался в сводах и возвратился обратно.

— Проглядели, кудлатые,— уже спокойно произнес Петр.

Живописец завороженно смотрел на царя. Его лицо, озаренное светом лампад, было встревожено и полно ожидания.

— Тако выдумать, надо голову иметь!— сказал Петр.

Он достал из кармана трубку, набил табаком. Прикурил от свечки, что держал дьячок. Тот зашипел от негодования, мелким крестом осенил грудь. Государь прошел в алтарь.

— Дед!— крикнул оттуда неожиданно озорным голосом.— Тащи огня!

Дьячок, творя молитву и озлобленно посматривая по сторонам, исполнил приказ. Семь свечей вспыхнули желтоватым блеском и отразились таким же блеском в зрачках у государя.

В алтаре, как и в храме, радостно утверждала жизнь певучая гамма неумирающих красок. Перед взором царя плясали пророки, великомученики и просто мученики.

И царь снова сказал:

— Зело отменно!

Табачный дым, густой и терпкий, плыл из алтаря. Дьячок крестился и фыркал.

— Подойди, малый,— сказал Петр живописцу.

Живописец, трепеща, подошел.

Царь быстро взял его за плечо своей сильной рукой и улыбнулся.

— Готовься,— сказал,— поутру в Москву, а оттуда в Санкт-Питербурх поедем. Будешь у меня парсуны писать и первого Данилыча изобразишь, чтоб плясал, как та девка на стене.

Еще раз затянулся дымом и, гремя шпорами, вышел из алтаря. Живописец едва поспевал за ним. На пороге притвора царь остановился, снова оглядел стены и весело проговорил:

— Правду молвил, здоров ты, парень, жизнь утверждать!

Луна смотрела из-за облаков. Спокойно спали приземистые домики, хлюпал снег под ногами.

* * *

Царь, ложась спать, сказал Екатерине:

— Знаешь, Катя, где я был? — и на немой вопрос жены сам ответил: — Веселым святым молился. Един тут человек, живописец, великую мне милость оказал, великую: при всякой препозиции должно жизнь утверждать, должно!

Замолчал, посуровел.

— И покуда в груди моей сердце бьется — истину утверждать буду, Катя!

— Спи, Петруша,— сонно молвила Екатерина.

В соседней комнате на затейливых часах выскочила маленькая серебряная кукушка и кокетливо прокуковала двенадцать часов.

...А живописец шел домой. Он жил на том берегу реки.

Питербурх, столица, новый парадиз стояли перед его взором. В ушах звенел голос царя: «Зело отменно!». Сердцу было тесно в груди, и живописец закричал:

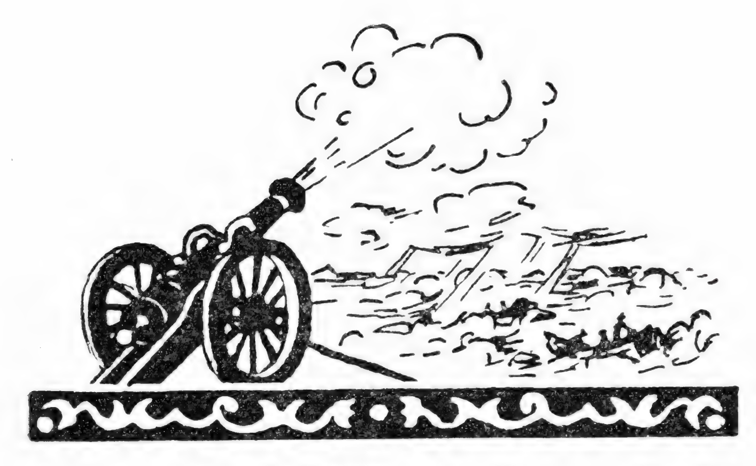
— Зело отменно!

Мятущийся крик его вырвался на простор мартовской блеклой ночи, и не было уже дороги. Живописец, размахивая руками, бежал вниз по снежному косогору. К реке. Лед местами потрескался. У самого берега была прорубь, в которой бабы по утрам полоскали домотканое болье.

— Зело отменно! — победно прозвенел голос, и живописец вдруг почувствовал толчок, потерял равновесие. Пронизывающий холод охватил его крепкими объятиями. В последний миг, когда тело очутилось подо льдом, сердце дернулось порывисто сильным ударом, дернулось и остановилось...

Большая ворона опустилась на лед. Внимание ее привлек темный предмет, лежащий у проруби. Кособоко подпрыгивая, ворона приблизилась к нему. Скосила глаз и клюнула, затем досадливо каркнула и, тяжело взмахнув крыльями, полетела по направлению к собору.

У проруби осталась лежать смешная треуголка с обмякшими краями.



ПАРАДИЗ

То ли с непогоды, то ли с тоски — знобило. Все большое несуразное тело с длинными ногами, тощими в икрах, казалось лишним и ненужным.

В новом Зимнем дворце дуло изо всех щелей [1]. Сам следил, чтобы строили на совесть, да разве за жуликами усмотришь?-

За окном был парадиз, по-русски — земной рай, созданный на костях, на поте, на крови.

Дождь. Ветер. Свинцовые волны... И тоска.

Россия. Отчина деда. Отечество, выстраданное кровью сердца и неустанной тяжелой работой. Да, работой! Ни часу, ни единого мгновения не переставал думать о ней. Кажись, скажи господь — шкуру свою не пожалел бы. Ремни дал бы резать. Дал бы! С превеликой радостью, ежели бы знал, что приумножат наследники славу и достояние России.

Застонал. Скрипнул зубами. Поднялся и подошел к столу. Налил в оловянную чарку из зеленой бу-

---

[1] В 1721 году у Зимней канавки был построен второй Зимний дворец (первый — в 1711 году), выходивший фасадом на Неву. Дворец — небольших размеров, имел высокую крышу и украшенный пилястрами фасад. В этом дворце 28 января 1725 года скончался Петр I. Нынешний Зимний дворец (архитектор Растрелли) — шестой по счету.

тыли водку. Выпил. С блюдца пальцами взял кислой капусты. Пожевал и выплюнул на пол — вкуса не почувствовал. Темнело. Дождь усиливался. Лохматые волны ходили по Неве.

Прислонился лбом к стеклу: «Мой город. Ах, какой он! Даже теперь — в дождь, ветер, в бурю, в грязь — люблю его. Думали ль прежние государи и толстопузые бояре, сидя в душной Грановитой палате, мечтали ль тугоумные, что вот здесь, в Чухляндии, с гордым дерзанием российские корабли в заморские страны пойдут? От сей еретической мысли карачун бы их хватил! Сиречь лишение языка. Ах, Питербурх, Питербурх! Парадиз мой милый! На кого я тебя оставляю, на кого?»

Сжал кулаки. Задышал резко, порывисто, стекло аж запотело. «Наследника подлинного, восприемника прожектов моих нету. Внучонок млад еще. Кто же? Одни гусыни да рабьи души. Почто с лишком пять десятков лет прожил? Почто государство устраивал?» И закричал: «Почто тебя создал?!»

Вспомнил, как недавно, когда из Петрозаводска через Вологду проезжал, на подворье голландца Гутмана к нему приходил изограф, мастер живописного цеха, что храм Предтечи диковинными картинами расписал. Сам видел сие художество.

Петр наморщил лоб, припоминая слова живописца. Выпивши тогда был человек для храбрости. А ликом зело приятен — глаза серые, не дурацкие. Волосы белесые, с кудрецой. Одет сей молодец был в коричневую куртку сукна дерьмового. Треуголка мышам на смех — с обвисшими краями. Даже улыбнулся царь, представив фигуру живописца.

«Чего просишь?» — спросил его тогда. «Правду взыскую»,— ответил тот.

Разговор у них получился сугубо философический — о претворении правды. Живописец говорил, что Петр сие претворяет славными деяниями своими, а он, недостойный, ремеслом своим, а про то никто и знать не хочет и перстами тычут, аки на разбойника.

— Аки на разбойника! — вслух сказал Петр.— Тако и выходит, ибо не всякому дано зрячим быть!

И как бы прозрение нашло, как бы оглянулся на все пройденное и спросил себя:

— Пошел бы вспять по проторенной дорожке отцов-государей, по-старому укладу, чтобы кондовое, бородатое, дремучее, вшивое царство лежало смердом распластанным у ножек его государевых, чтоб в гриднице от духа лампадного и мерцания свечек перед золочеными киотами в смиренной гордости пребывать? Нет, отрицаюсь. Пусть весь в крови, ни единого из дел моих не страшусь и на суде господнем нелицеприятному судье и всем его архангелам, сколь их ни на есть, скажу: все, что ни творил страшного, не для себя делал. Ни единой кровинки для себя не пролил, а за Россию и моря крови не жалко.

В соседней комнате осторожные шаги. Приглушенный кашель и шепот. За окном ветер, Нева. Шторм. Подумал: «Плохо в такую погоду на море... плохо... А мне хорошо? Хорошо мне?» Присел на стул. Из кисета достал щепоть черного крупной резки табаку голландского — набил коротенькую трубку. Крикнул:

— Эй, кто там?

В кабинет вбежало сразу двое: денщик Митрохин и дежурный поручик Скурятов.

— Огня,— приказал.

Внесли свечи, и Петр закурил. Крепкий запах распространился по комнате. Митрохин срывающимся голосом доложил:

— Беда, государь! Из адмиралтейств-коллегии рапорт: на Лахте матросы тонут...

— Ботфорты и теплый камзол!

Усталости как не бывало.

Вбежала Екатерина Алексеевна, простоволосая, в наспех накинутой шали на голые плечи:

— Петенька, да куда же? Не пущу, болен ты...

Досадливо передернул плечами.

— Не мешай, Катя, слышала — матросы тонут!

— Да без тебя управятся, Петенька. Чать, поди, распорядились...

Перекосил лицо, задергал левым глазом и в яростном гневе грохнул:

— Молчать!

Катерина Алексеевна так и присела, а у остальных дух захватило. Как тут перечить?

Второпях разорвал камзол, треуголку косо на во-

лосы надвинул и в ботфортах, гремя шпорами, несуразный, страшный загрохотал по комнатам так, что половицы задрожали.

На Неве вздымались свинцовые волны. Низко опустилось хмурое небо. А он, сидя на руле, осипше кричал:

— Сгною, мерзавцы! Так держать!

Тяжесть от головы отвалилась. Кругом бушевал шторм. А его одолевала только одна дума: как бы ловчее подплыть к утопающим... Словно сбросил двадцать лет с плеч, помолодел и пил леденящий ветер, как анисовку. Глотал всей грудью. Хватал людей за волосы, втаскивал в бот и кричал:

— Веселей, молодцы, веселей! [1]

Когда те, кого можно было спасти, были спасены, и он, весь мокрый, запарившийся, тяжело дышащий, правил обратно к пристани, вдруг почувствовал: это в последний раз. Всю жизнь в предчувствия не верил, над колдунами и знахарями смеялся, а тут поверил, и тело сразу обмякло, постарело, опустилось. Стало холодно и захотелось на лежанку, в теплоту, в забытье...

Не помнил уже, как попал в постель, как раздели, как натирали водкой и водку же вливали в рот. Ничего не помнил, хотел только одного, чтобы поскорей унялась лихорадка и можно было заснуть. А потом словно провалился в пустоту.

Лежал. Черные мокрые волосы разметались по подушке. Искривленный рот полуоткрыт. И даже в провале чувств, когда Екатерина подошла к нему, чтобы пощупать лоб, прошептал:

— Любимый мой, парадиз мой...

Екатерине сделалось страшно. Она окликнула его:

— Чего ты, Петруша? Кого ты зовешь?

Он открыл глаза. Посмотрел на нее, но не увидел и опять настойчиво ясным шепотом:

— Питербурх!

---

[1] В Вологодском Петровском домике, где среди экспонатов находятся подлинные петровские вещи, имеется живописная копия с картины художника Штейбена «Петр спасает утопающих».



ЦАРЬ ДАВИД И ПРОШКА

Когда нет дома барина, Прошка ложится в прихожей на сундук, подкладывает под голову соломенную, в лоскутной наволочке подушку и тоскливо думает о вологодском селе Алексеевском. Мысли развертываются серой нитью, и от них тяжелеет голова.

Прошка крестится в темный угол и шепчет молитву деда Степана, наиболее запомнившуюся с детства: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!»

И представляется Прошке царь Давид высоким белобородым стариком с ласковыми телячьими глазами; на голове золотая корона, на ней золотой петушок с серебряными перьями, похожий на тех пряничных петушков, каких продают бойкие мещане на Сенном рынке.

И говорит царь Давид Прошке: «Ты, Прохор, не унывай. Будь кротким, и я тебе помогу! Ты только исполняй все и почаще молись! — и гладит царь Прошку по льняным волосам. — Так-то, милок!» Ну совсем как дедка Степан!

Просит мальчик Давида: «Покажь мне Алексеевское!» — «Ладно! — соглашается добрый царь и берет Прошку за руку. — Полетим!»

И над Санкт-Петербургом, над Зимним дворцом, где живет император Николай Павлович, над всеми

домами и казармами, над будками и столбами с двуглавым орлом, над всеми богатыми усадьбами и бедными избами летят царь Давид и Прохор.

— Вот она, Россия-то,— говорит царь Давид,— вот она, матушка!

— Была матушкой, стала мачехой!— по-взрослому отвечает Прошка.

— Помолчь!— сердится Давид.— Помолчь. Не твоего умишка дело!

— А ты глянь-ко, батюшка!— настаивает мальчик.— Ты, батюшка, со мной пройдись.

Прохор тянет Давида за рукав парчовой одежды, и они идут по Алексеевскому. Незаметно входят в избы мужицкие, покрытые взъерошенной, выцветшей соломой, и видят все одну и ту же картину: тесная, перекосившаяся изба, маленькие, слепые до жути оконца, на стенах тараканы, зыбка с плачущим ребенком, мокрый, наслеженный пол, а на печи стонет бабка, выпрашивая смерти у бога.

— Во,— плачет Прошка,— во, батюшка царь Давид, кака жизнь крепостная!

А ребенок в зыбке плачет, плачет, и делается царь все тоньше, тоньше и исчезает.

В двери стучат сапогами. Слышен сердитый звон шпор.

«Никак, барин!»

Прошка кубарем скатывается с сундука, хватает подсвечник с тускло мерцающим огоньком и бежит отворять.

Входит барин, гвардейский поручик, высокий, статный, на щеках от мороза румянец, треуголка сползла на левую сторону, а сам барин шатается.

— Спал чертенок?— сбрасывает на руки Прошке офицерскую шинель.

— Вздремнул малость...— отвечает Прошка.

Поручик, не глядя, дает ему подзатыльник: «А где Никита?» Никита — старик, барский камердинер, все свободное время проводит в дворницкой. Там собирается прислуга и живет барский кучер Ефим.

— Ушли к Ефиму Ивановичу.

— Камин истопил?

Прошка об этом позабыл, но знает, что пьяный поручик ничего не заметит.

— Истопил, Алексей Александрович! Как же! Когда вы ушли, я и истопил! — и, придерживая барина за талию, ведет его в опочивальню, сажает на кровать, кряхтя, снимает тяжелые ботфорты и, пожелав доброй ночи, уходит, захватив с собой господскую одежду. Поручик, свалившись на постель, вдруг кричит: «Сволочи Бенкендорф и Фон-Фок! * Армию испакостили».

Прошка снова взбирается на сундук, тычет лицо в подушку и со злобой шепчет: «Вот те и помяни царя Давида со всей кротостью».

* * *

Барон Фон-Губер посмотрел на Алексея Левашева:

— Я буду просит вас, господин, поручик, повторять ваши суть оскорбительный слова на мой счет!

Алексей Александрович с презрением оглядел коротконогую жирную фигуру барона и запальчиво ответил:

— Барон! Я повторяю, что подобные вам офицеры армию российскую доносами унижают. На кого доносите? На лучших камрадов! Стыдитесь! Рапортуйте в отставку!

— Подтверждаю! — загрохотал басом майор Рощин. — Подтверждаю! Эй, подать сюда дюжину шампанеи!

— Правильно. Ура поручику! виват! — подняли бокалы офицеры, собравшиеся на квартире у артиста итальянца Паоло Карручио.

— Позвольте! — побледнел от злости Фон-Губер. — Позвольте! Это есть оскорбление старшего чином. Я буду завтра подавать рапорт о вашей крамола графу Бенкендорф. — Он поспешно встал из-за стола.

Алексей Александрович схватил барона за грудь, сорвал эполет и кулаком сильно ударил трижды по лицу.

— Вот тебе, мерзавец!

Барон зашатался и выплюнул изо рта кровь. Прижав к носу платок, выбежал из комнаты.

---

* Бенкендорф — граф, генерал-адъютант, шеф жандармов. Фон-Фок — директор полиции и помощник Бенкендорфа.

Ночью поручика Алексея Левашева жандармы отвезли на гауптвахту.

А через неделю его под конвоем вывели на плац, где выстроился батальон, в котором он служил.

Поставили перед строем, и тогда забили барабаны. Из казармы в сопровождении полкового командира вышел сам Александр Христофорович Бенкендорф, приземистый, лицо одутловатое, с рыжими баками, глаза голубые, выпуклые. В руке у графа казенная бумага. Идет граф, подпрыгивает, шпажонка о ботфорты бьется. Завидев начальство, полк взял «на караул».

Бенкендорф провозгласил: «Господин Левашев! Вы недостойны офицерского патента! Его императорское величество государь Николай Павлович указал подвергнуть вас ссылке, разжаловать в мещане, а усадьбу вашу, согласно решению военно-судной коллегии, передать барону Фон-Губеру — верному слуге империи Российской».

Барабанная дробь. Над склоненной головой поручика, улыбаясь, граф Бенкендорф переломил шпагу. Офицеры и солдаты стояли в молчании из уважения и к дисциплине, и к судьбе поручика.

Вечером того же дня отправили Алексея Левашева на перекладных с двумя жандармами в далекую тобольскую ссылку. Прошке разрешили шубу принесть да баул дорожный с хлебом, мясом и фляжкой вина. Государь-император соблаговолил назначить ссыльному мещанину Левашеву для содержания по семи рублей в месяц.

Прощаясь с Прошкой, барин прослезился:

— Прости меня, Прохор, ежели я тебе вихры трепал. Не поминай лихом! — и сунул ему в руку два больших тяжелых серебряных целковых.

Утром на квартиру Левашева приехал Фон-Губер, подавший в отставку, переписал всю обстановку и обратился милостиво к Никите, Ефиму и Прошке:

— Теперь я у вас господин! Вы должны быть мне верный.— И приказал Ефиму готовить лошадей, чтобы ехать в село Алексеевское.

Хоть и пожалел Прошка поручика, хоть и не понравился новый барин, но на сердце радость: «Едем к тятьке и мамке, и целковые есть на гостинцы!».

И когда пришел в сновидении Давид, Прошка ему сообщил: «Ну, прощевай, кроткий царь! Еду я поутру в Алексеевское... Два года тятьки не видал. Спозаранок за гостинцами добегаю. А ты смотри не забывай. Летай до нас. Ты вить не на лошадях ездишь!»

И ответил Давид: «Ладно, милый! Не сумлевайся!»

И мотал Давид белоснежной бородой, и смотрел телячьими, ласковыми глазами на Прошку. Тряслась на кудрях его корона, и распускал на короне серебряные крылья золотой петушок.

* * *

Алексеевское считалось богатым поместьем. Крепостных — пятьсот ревизских душ. Господа имели на откупе винокурни и ямские станции. И все это досталось Фон-Губеру.

После сретенья, когда отошли морозы, в воздухе незримо повеяло весной. Есть такие дни в феврале — еще упруг снег под ногами, но уже в голубизне неба, в галочьем гомоне, в воробьиной суетне чувствуется приближение тепла.

В один из таких дней, утром к барскому дому подъехал знакомый всем дворовым господский крытый возок. Ржанье взмыленных коней, звонкий колокольчик разбудили деревню, не предупрежденную о приезде барина. Из господской конторы бежал запыхавшийся бурмистр Яков Петров, и его бритые щеки тряслись, как кисель. Ключница Меланья суетилась на кухне, где поваренок Петрушка растапливал плиту.

Лакеи торопливо напяливали на грязные рубахи ливреи с дворянскими гербовыми пуговицами и, сняв валенки, натягивали на отвыкшие от кожаной обуви ноги чулки и ботинки с медными пряжками.

В барской опочивальне, в зале и столовой пахло сосновой смолой и березой от принесенных дров. К барскому дому торопились из церкви священник отец Михаил с дьячком служить благодарственный молебен о благополучном прибытии помещика. Но вместо ожидаемого Алексея Александровича прошел на крыльцо, не здороваясь с челядью, толстый чванный немец в шубе, а с ним губернский советник для ввода нового помещика во владение усадьбой.

Для крепостных с этого дня началась пущая мука. Завел Фон-Губер новые порядки: бурмистра Якова Петровича заменил приехавшим из города немцем-управляющим, повара за подгорелый пирог на конюшню отправил, казачка Григория за плохо вычищенные сапоги, приказал, ровно пса, на привязь взять и чтобы лаял по-собачьи. По селу да ближним деревням только и разговоров, что, пожалуй, хуже нового помещика вряд ли по всей округе сыщешь.

* * *

Прошка отпросился у камердинера Никиты к себе домой.

Никита отпускать боялся — вдруг барону понадобится невзначай, но мальчик так просил, что старик сжалился: «Только ты, Прохор, смотри, через день наутро приходи, не то вихры натреплю!»

Прошка собрал гостинцы петербургские: отцу — шапку и полштофа вина, матери — платок, а сестренке Глаше — козловые полусапожки, по фунту вяземских пряников и баранок. Сам нарядился в красную рубаху и плисовые шаровары — подарок поручика, подпоясался ремнем с набором и начистил до яркого блеска сапоги. Волосы припомадил гарным маслом, увязал гостинцы в платок и таким вышел фертом во двор, что лакей дядя Фрол одобрительно чмокнул:

— Ай да племяш!

Гордый своим видом, Прохор отправился к барским конюшням, около которых ютилась пристройка и три горенки, где жили два конюха — дедка Степан и Прошкин отец Иван Степаныч.

Жили тесно и бедно. У дедки Степана семейства — бабка, дочка-вдова, четверо внучат. Он занимал две каморки, а у Ивана — трое, и ему полагалась одна.

Иван Степаныч — сорокалетний мужик с черными, пронзительными глазками — был хмур и неразговорчив. Дворни сторонился и лишь к одним лошадям чувствовал приязнь.

Жена его Матрена, скотница, в своем Иване души не чаяла, понимала мужа с полуслова и ценила в нем ум и то, что Иван Степанович, что было редкостью, знал грамоту и ни разу ее не ударил.

Глаша, десятилетняя девчонка, помогала по хозяйству, летом и осенью собирала грибы и ягоды для господского стола и полола огород.

Прошку сестра любила без памяти, и сейчас, заметив в оконце степенную фигурку брата, взвизгнула, и босиком выскочила на крыльцо.

— Проша, братец!— радостно повисла на его шее.

— Со свиданием!— Прохор поцеловал Глашу и заметил укоризненно:— Эка дура, ты Глаха, ноги-то застудишь!

— Даром, Прошка. Обойдется!— Глаша принялась рассказывать о том, что завтра праздник, младшая сестра отца, тетка Груня, выходит замуж за Митю Селифанова и что батя хвалился взять на свадебный поезд тройку коней из барской конюшни.

— Батя-то дома?— спросил брат.

— Вышедши из конюшни. Я за ним сбегаю. Ты, Проша, в избу ступай.

— Валенки-то обуй!— проговорил Прошка, и они вошли в свою каморку.

Паренек положил на лавку узелок и стал ожидать отца. Вскоре тот пришел. Глаза Ивана Степаныча смеялись, а лицо было серьезным. Принял подарки: «Спасибо, Прохор!»

Глаша вскипятила в чугунке воду. Пили кипяток с сухой малиной, с пряниками. Мать месила тесто для пирога к вечеру, за стеной плакал ребенок, и в каморке кислый запах хлеба и овчины. Все знакомое, как два года тому назад, и Прошке казалось, что он никогда не уезжал и что Санкт-Петербург — сон, такой же, как и кроткий царь Давид.

Вечером пришли родные из Алексеевского, расспрашивали Прошку о новом барине-немце, почему Алексей Александрович немилость царскую заслужил?

Прошка рассказал все, что знал: как барин набил немца и как граф, главный генерал, поручика в Сибирь угнал.

На другой день Иван Степаныч, договорившись с кучером, вывел за околицу тройку коней, запряг их. Девушки заплели в гривы лошадям ленты, и все поехали на село к жениху тетки Груни, а оттуда к невесте.

Ехали поездом: несколько розвальней, над каждой дугой колокольчик. Погода стояла солнечная, снег искрился, воздух был чистый, грудь дышала легко, Прошке было весело.

— Нравится? — спросила Глаша брата.

Они сидели в широких пошевнях, на мягком хрустящем сене, покрытом цветным рядном. Тройка гладких барских коней, как перышко, несла пошевни.

— Ладно! — ответил Прошка. — Хорошо!

Люди, казалось, забыли на несколько часов тягость подневольной жизни.

У невесты обедали. Тетя Груня — девятнадцатилетняя красивая — сидела, закрывши лицо платком, рядом с женихом под образами.

По старому обычаю подружки ее вынесли тоненькую елочку, украшенную лентами и огарками церковных свечей, а на деревянном блюде косу, сплетенную из льна.

Девушки, пересмеиваясь, встали в углу и запели звонкими чистыми голосами:

Пораздайся, народ, дева красота идет,
Не сама она идет, красна девица несет
По полику по тесовому,
По столикам по дубовым,
Ко скатертям браным,
Ко гостям званым.

Потом девушки подошли к столу, и одна из них взяла поднос и, протянув жениху, запела:

Молодой князь, догадайся,
За кармашечек-д принимайся,
Тебя матушка соряжала,
Соряжала, наказала:
Ты пойдешь, сын, на свадьбу,
Будут девицы опевати,
Чтобы было чем дарити.

Жених со вздохом вынул из кармана кисет и положил гривну. Девушка поклонилась ему в пояс, подошла с песней к тысяцкому.

После обеда поехали всем поездом в церковь, а затем к жениху на свадебный пир.

Иван Степаныч прошелся с Матреной в русской, и все удивлялись, как они могут так согласно, хорошо плясать.

* * *

Утром Прошке надо было идти на господский двор. Он встал в шесть, грустно простился с Глашей — мать и отец уже были на работе — и вышел из каморки.

Никита встретил Прошку сердито:

— Свадьбы справляете без барского разрешения! Тройку барскую взяли! Ишь-ты! А барон ругался, пошел на конюшню, а тройки нет. Где, мол, кони? А дедка Степан спужался да грит: «Иван мой-де Груньку замуж выдает, он и взял!» Барин в раж: «По чьему веленью?..» И зачалась канитель! Тьфу!— старик сплюнул на паркет.

— Возьми мелу,— приказал Прошке строго,— и канделябры вычисти до блеска.

А в это время в конюшне перед Иваном Степановичем стоял барон с хлыстом в руке. Губы у него дергались от злости.

— Ты, Иван, лошадей брал без разрешения?

Иван Степаныч опустил голову:

— Прости, барин! Уж очинно хотелось сестрицу по обычаю замуж выдать!

— По обычай?— протянул Фон-Губер.— Ну, я буду показывать тебе, что значит мой господский обычай. Эй! Возьмите Ивана да запрягайте его в легкий санки. Я делаю моцион на чистый воздух!

Запрягли Ивана Степаныча. Вырывался он. Насилу сладили. Сел барон в санки и погнал Ивана по тракту.

Что было на тракте — неизвестно. Глаша сказывала Прошке, что вернулся отец весь в крови, дышал тяжело, а рубаха разорвана. Сел на лавку, ударил кулаком по столу: «Проклятым во весь век быть, и в себе и в своих детях покою не знать, ежели обидчику не отомщу!»

Стал с того дня Иван Степаныч часто по вечерам из дому отлучаться.

А барин чудесил. Зверем ходил по усадьбе и, чуть что не по нему, сейчас же на конюшню посылал. «Буду спускать шкура с каждой сволочь!»

Прошка на Фон-Губера смотрел с ненавистью: «Изничтожить бы тебя, сатану!»

Спал мальчик теперь без снов, не приходил больше к нему Давид — царь кроткий, а если бы и пришел, Прошка с ним бы иначе поговорил.

...Так шла жизнь, тяжелая и подневольная, в постоянном страхе и нужде. Когда из рекрутского правления приехал чиновник собрать воинство и лбы брить, то парни немцу-управляющему в ноги кланялись:

— Сдай нас в солдаты! Сделай божескую милость!

В некоторых хозяйствах кончился хлеб. Шестьдесят человек в Алексеевском, из них пятнадцать детей голодали. Кто мог из крестьян — помогал им, но осторожно, сам боялся остаться без хлеба.

Старик Николай Пазухин с тремя внучками пошел к барину.

Прошка видел в окно, как по веселому мартовскому снегу семенил сгорбленный, плешивый старик в заплатанном армяке, а за ним бежало трое малолетков.

Старик подошел к господскому крыльцу и опустился на колени.

— Что за чучелы! — спросил барин Никиту.

Тот доложил.

— Голодают? — прогнусавил барон. — Не работали в пот лице! Прогони их в три шеи!

Ночью на господском дворе выли собаки. Дворовые крестились: «Быть беде!»

А утром около гумна, нашли повешенного на старой березе, старика Пазухина.

И долго после того боялись люди ходить на гумно, а если ходили, то скопом, а не поодиночке.

Слухи об алексеевском барине ползли по уезду цепкие и страшные.

* * *

Однажды вечером Прошка отлучился из господского дома и забежал к своим сообщить, что вскоре уезжает в город, в казенную палату с барином. Отец сидел за столом в расстегнутой рубахе. В его черных глазах блестели огоньки. Трое гостей — двое крестьян из Алексеевского и один из соседней деревушки Королево — внимательно слушали Ивана Степаныча: «Ла-

кей Гаврила сказывал, ну ребята, пострадайте за мир, не выйдет у вас — сам сделаю. Все равно не жить нам при бароне».

Увидел отец Прошку: «Когда едете?»

Прошка ответил: «Ден через три!»

Через несколько дней уехал Фон-Губер с Никитой и Прошкой. Барин был расчетлив и на своих конях только по поместью разъезжал, а так все больше на ямских, задаром, тем более, что ямское дело было у него на откупе и десять алексеевских парней ямщиками барщину отбывали.

Ехали ночью мимо леса. До почтовой станции осталось верст восемь, и тут раздался окрик: «Стой!» — и из лесу выскочили двое в масках.

Ямщик из алексеевских — Федя — лошадей остановил и обернулся к барину: «Вы, ваше благородие, слазьте. Мне с вами не по пути!» — и засмеялся.

Прошка ни жив ни мертв, а Никита «Да воскреснет бог» читает.

Барон посмотрел на ямщика: «С тобой разговор буду иметь поздний!» — и выскочил из возка.

Возница усмехнулся: «Ладно, ваше благородие!» — погнал лошадей к станции, а барин с пистолетом на тракте остался и стрельбу открыл.

Хорошим он стрелком был, одного нападавшего тяжело ранил, а второй подхватив товарища под мышки, в лес ушел!

Фон-Губер пришел на станцию через три часа. Отогрелся, выпил водки, ударил два раза кулаком по лицу Никиту: «Подлый швейн!», затем хлыстом избил Прошку, да так, что мальчик сознание потерял.

Когда кончил расправу над слугами, позвал станционного смотрителя: «Приводьте ямщика Федю!»

Смотритель испугался: «Сударь! Неужто вы гибель ему учините? Ямщик отменный!»

«Дело мое! — сказал Фон-Губер, — это есть заговор!»

Смотритель поклонился и тихонько вышел из горницы. Помещик сел на лавку, положил перед собою на стол пистолеты.

Вошел ямщик Федя, русоволос, лет двадцати двух. Вошел и остановился у дверей.

— Звать изволили? — звонко спросил.

— Сволочь! Почему лошадей гнал?

Федя взглянул на барина и все понял.

— По всей округе о тебе, ваше благородие, дурная слава идет,— сказал напрямик,— лютый зверь и то милостивее бывает!

Правдив был молодой ямщик. Поднял помещик пистолет и нацелился ему в лоб. Раздался выстрел. Ямщик так и сел на пол. После этого ямщики со всего тракта зарок дали кончить с помещиком. А Иван Степанович, когда увидел Прошку избитого, так чуть ума не решился. Хотел до барина с топором бежать. Еле жена и Прошка удержали: «Не ходи, родимый, только себя сгубишь и нас сиротами оставишь!»

— Ну что ж,— сказал Иван Степанович,— подождем, все едино!

Приехал как-то из Вологды в Алексеевское полицмейстер, майор, по делу об убийстве ямщика и за обедом после трех бокалов токайского размякшим голосом предупредил Фон-Губера:

— На вас, уважаемый благодетель, гроза собирается. Ямщики, сукины дети, желают с вами покончить.

Барон немного поежился:

— Я не боюсь русской смерд, господин майор! — и с этими словами кликнул Никиту и велел привести под окно двух мужиков из соседней деревни, учинивших потраву на господском поле.

Привели их под окно, и приказал барон их выпороть. Те зубами от ненависти к помещику скрежещут, но не кричат.

— Видите, майор, подчиняются швейны! В сем есть мой воспитательный образец!

Полицмейстер покачал головой:

— На вулкане, благодетель, живете! На вулкане! Прокурор уже следствие начал.

* * *

Случилась гибель Фон-Губера весной, в мае. Ехал он к богатому помещику, в соседний уезд, той же дорогой, где парни на него напали. С ним опять-таки

были Никита и казачок Прошка. Ямщик, пожилой, черноволосый, сидел на облучке и заунывно пел:

Что за травушка, да за муравая
Травка день растет, ночь алеется,
По чистому да по полю расстилается...

Фон-Губер слушал песню молча. Был он весь какой-то обрюзглый, и даже лицо его, обычно красное, теперь пожелтело от частой бессонницы.

А северная весна вступила в свои права. По бокам тракта стояли березки, а дальше в глубине леса зеленели кроны сосен. Крепкий запах хвои, берез и травы плыл в воздухе.

— Благодать!— сказал Никита и перекрестился. Прошка, сидя рядом с ямщиком на козлах, переживал весенний день. Вот так бы ехать все время, смотреть на лес и солнышко, слушать песню ямщика и веселый птичий щебет, ехать бы так все время и ни о чем не думать.

Ямщик оборвал свою песню:

— Сударь! Дозвольте подпругу подтянуть?

Барон в знак согласия кивнул головой. И когда коляска остановилась, из лесу выскочило человек десять. У всех на лицах рогожные маски, у всех в руках кнуты.

То ли барон смерть почуял, то ли столбняк на него нашел, только он спохватиться не успел, как его из коляски вытащили, да и уволокли в глубь леса. Коляску с лошадьми в кусты загнали и оставили под присмотром одного паренька, чтобы Никита шуму не поднял.

А Прошка побежал за людьми. Побежал и у сосны, на поляне, где барина судили, притулился. И то, что видел, на долгие годы запомнил. Суд над бароном был короткий, и умер господин Фон-Губер далеко не геройски. Гордый был, а здесь почувствовал ужас, ползал на карачках, просил помилованья.

Через три дня в Алексеевское понаехало начальство и полиция.

Управляющий Фон-Губера требовал у начальства именем графа Бенкендорфа — покровителя покойного помещика — жестокой расправы.

Привезли три воза березовых веток, мочили их в растворе соляном и секли беспощадно всех крепостных подряд: авось кто да проговорится!

Но так велика была ненависть к помещику, что никто и слова не проронил. Даже старик Никита и тот молчал, а ямщик, что барина вез, исчез, и никто его найти не мог, хотя управляющий обещал награду.

— Докладывал я покойнику, что злобу на него имеют, скольких он наказал! Где уж тут сыскать виновного. По мне — все виноваты... Для острастки выпороть еще по разику, и баста! — решил майор полицмейстер.

Последним из дворовых наказывали Прошку.

Два дюжих полицейских сели ему один на голову, другой на ноги, а третий принялся хлестать.

Не кричал Прошка, всю руку себе искусал.

Дома забрался на полати и лег на живот рядом с избитым отцом. И лежали так — сын и отец. Лежали молча, но в этом молчании была скрыта их ненависть, горячей волной пробегавшая по истерзанному телу.

И когда забылся беспокойным сном Прошка, в первый раз после Санкт-Петербурга прилетел к нему во сне Давид — царь кроткий. Прилетел и спросил: «Болезно тебе, родной? Ась?» Был, как и всегда, царь в золотой короне, с петушком хвостатым, и глаза Давидовы кроткие смотрели по-телячьи: «Болезно тебе?»

И тогда сказал Прошка с сердцем и грубо: «Езжай ты от меня, кроткий, подале. Небось взять бы тебя да под лозы, псалмы не запел бы! А? Не запел бы, дедка петушиный?»

Обиделся царь, надулся и лопнул.



БЕЗ ВОЗДУХА

В третьем отделении собственной его величества канцелярии начинался служебный день.

Чиновники в вицмундирах рассаживались за столы, вынимали синие папки «дел». Вахтер с нашивками и пышными седыми усами на благообразной физиономии неспеша обходил столы господ чиновников и из большой бутылки подливал чернила в чернильницы. Чиновники потирали руки, прежде чем взяться за перья.

Петербургский апрель как всегда был простудным и дождливым.

Кое-кто из чиновников постарше произносил:

— Н-да-с, господа, мерзкая, я вам доложу, погодка. В перчатках и то, поверьте, кончики пальцев онемели. Да-с!

Но это позволяли себе надворные или коллежские советники. Те, кто носил чины коллежских регистраторов и титулярных советников, соблюдали субординацию, разговаривали между собой шепотком, да и то лишь по самонужнейшим вопросам, не имеющим личного характера. Учреждение было солидное, и его шеф не любил, когда канцеляристы болтали.

Звеня шпорами, прошел мимо столов в приемную залу, уставленную по-казенному, толстеющий пол-

ковник, затянутый в синий с голубоватым отливом мундир. Сидевший в приемной у двери кабинета за большим столом желтолицый адъютант поднялся и приветливо сказал:

— Его превосходительство еще не приехали... Прошу Вас, полковник, присесть.

Галантным жестом он придвинул полковнику дубовый стул с высокой резной спинкой. Полковник сел и, наклонясь к адъютанту, стал вполголоса рассказывать какой-то скабрезный анекдот. Адъютант хихикал.

В соседнем зале послышался гул приветственных голосов. Адъютант и полковник как по команде встали и оправили мундиры. В сопровождении худенького столоначальника и вахтера вошел высокий генерал с седеющими бакенами и длинным носом. На мундире переливался эмалью владимирский крест. Небрежным кивком головы генерал пригласил к себе столоначальника и полковника.

В кабинете было тепло. Догорали поленья в камине. Пушистый ковер заглушал шаги. За массивным столом с бронзовыми канделябрами помещалось мягкое кожаное кресло. На стене висел в золоченой раме портрет императора Николая Павловича.

— Я задержался немного у его сиятельства шефа, — сказал генерал и жестом попросил полковника сесть поближе к письменному столу.

Худенький чиновник остался стоять. У чиновника было бледное с морщинами лицо с тонкими губами и умными серыми глазами. Но когда эти глаза смотрели на собеседника, то последний испытывал какое-то неприятное и даже боязливое чувство. Чиновник очевидно это знал и прикрывал глаза очками.

— Да... — Генерал расстегнул ворот мундира. — Так вот, господин полковник, его сиятельство поручает вам заняться делом литератора Белинского. В то время, когда во французском королевстве происходит смута, или, как ее именуют парижские газеты, революция, и когда венгерские мятежники бунтуют противу своего законного молодого монарха, да, в такое время — как выразился его сиятельство — настала пора прекратить зловредную деятельность этого столичного санкюлота.

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству, — вежливо сказал чиновник, — осмелюсь доложить, по донесениям проверенным, господин Белинский находится в тяжелом состоянии здоровья. Господин Белинский...

— Знаю, — махнул рукой генерал. — Больной, а крамолу сеет. При последнем издыхании, а пишет.

— Истину сказали, ваше превосходительство. У меня в деле указаны лица, кои квартиру господина Белинского посещают: господа Некрасов, Панаев, Дружинин.

— Знаю, — сердито перебил чиновника генерал. — Так я буду просить вас, полковник, заняться делом Белинского и утвердить крепче надзор за его квартирой. Вы, Петр Николаевич, — ткнул генерал пальцем в сторону чиновника, — ознакомьте полковника со всеми бумагами, касательство до Белинского имеющими. У вас список с возмутительного крамольного письма Белинского Гоголю?

Чиновник наклонил голову:

— Так точно, ваше превосходительство.

— Как еще господь бог по неизреченной своей милости терпит такого крамольника! За одно письмо двадцати годов каторги и то мало, — убежденно проговорил генерал.

И полковнику надоело молчать:

— А по мне, ваше превосходительство, и Гоголь, хоть его и ругает господин Белинский, тоже птица вредная и долгоносая... — И полковник рассмеялся.

— Именно долгоносая, вы правильно изволили заметить, полковник, — вздохнул генерал. — Его сочинения осмеивают и полицию, и чиновников, и помещиков, и губернаторов. Везде свой длинный нос сует. Теперь-то, говорят, раскаивается в заблуждениях молодости: сатане, говорит, служил. А «Мертвые души» и «Ревизора» обратно в карман не спрячешь.

— Господа сочинители столько вреда Российской империи принесли и столько молодых умов с дороги правильной совратили, что должно даже удивляться человеколюбию нашего возлюбленного государя-императора, — с придыханием сказал полковник и благоговейно взглянул на портрет царя.

Собеседники замолчали.

Догорающие поленья бросали кровавый след на медную решетку. Окна генеральского кабинета покрылись каплями дождя. За окнами — серый петербургский день, серые дома и серая узкая, вдавленная в серый гранит плыла Мойка.

И смотрел благосклонно с портрета в золоченой раме в белом кавалергардском мундире с блестящей каской на голове государь-император Николай Павлович Романов.

В тесном кабинете (тесно было от книжных шкафов и полок с книгами) на старом диване полусидел-полулежал обложенный подушками Виссарион Белинский. Мелкий озноб пробегал по его телу, а на лбу выступил пот. На больном надета теплая куртка, а ноги покрыты пледом. Яркие пятна полыхали на исхудалом лице. Тонкими пальцами Виссарион Григорьевич нервно поглаживал лежащую на коленях книгу.

На стульях у дивана — Некрасов и Панаев. С первого взгляда на Некрасова бросался в глаза его большой голый лоб (Некрасов начал рано лысеть). В черном сюртуке, он сидел, наклонившись к больному, положив ногу на ногу и все время пощипывал свои усы. Панаев старался придать веселость маленькому кружку, но это ему не удавалось, и добродушные глаза его были печальны.

— Вот когда поправитесь, Виссарион Григорьевич, то мы такую пирушку закатим, уму непостижимо! — шутил он.

— Нет уж, Иван Иванович, — тихим голосом ответил Белинский и закашлялся. Кашлял долго, надсадно, и друзья делали вид, что ничего не замечают.

— Нет уж, — откашлявшись, закончил больной.— Укатали сивку крутые горки. Пора и отдохнуть на Волковом.

— Вы спрашиваете, Виссарион Григорьевич, как дела с журналом, — сказал Некрасов. — Правда, без вас не так клеится, но ничего.

— Какое там ничего! — горячо заговорил Белинский. — Цензура свирепствует... В Европе короны слетают с чурбанов. Теперь, поди, голубым мундирам жарко приходится. Нажимают на цензурный коми-

тет, а тот на издателей да редакторов, а те на сотрудников.

— Да, — неопределенно хмыкнул Некрасов, — есть такой грех, но ничего. Борьба. Я преуспеваю в эзоповском языке, чтобы затушевывать для цензуры некоторые мысли. Знаете, Виссарион Григорьевич, без труда не вынешь и яичка из гнезда...

— Правильно! — улыбнулся Белинский, — Вы, Николай Алексеевич, умница. Гораздо умнее их. В журнальном деле это главное. Мне так и не пришлось во весь голос говорить.

— Я вчера старого подлеца Фаддея видел, — сказал Панаев, — идет брюхом вперед.

— Скажи точнее — ухом, — усмехнулся Некрасов, — а лучше, Иван Иванович, не упоминай ты о Булгарине. Не место здесь!

Последнее Некрасов произнес с глубоким чувством. Белинский это понял. Его глаза потеплели.

— А я вот, друзья, Лермонтова читал до вашего прихода. Читал и его мятежным духом загорался.

Я знал одной лишь думы власть
Одну, но пламенную страсть...

Он снова закашлялся. Пот явственно проступил на белом лбу.

На кухне послышалось дребезжание колокольчика. Потом скрип отворяющихся дверей, испуганный вскрик кухарки и чей-то басовитый сиплый голос.

В кабинет быстро вошла жена Белинского. Ее лицо было встревожено, а в глазах прятался ужас. Белинский вполоборота повернулся к ней:

— Что там такое?

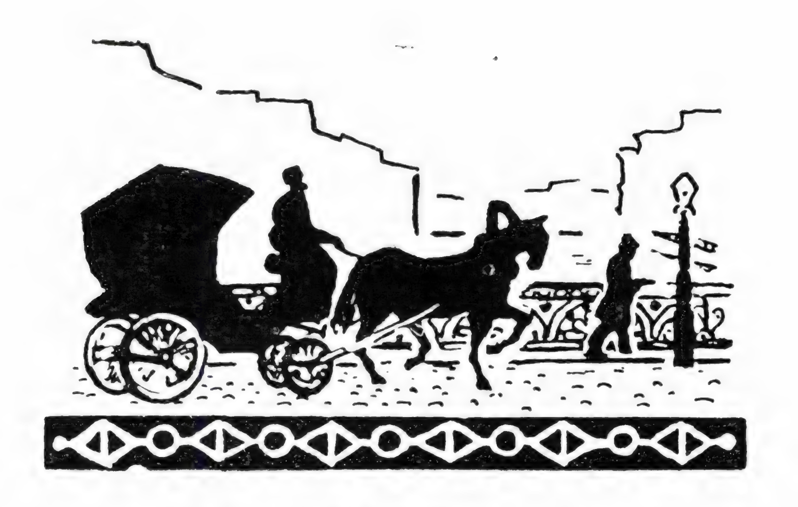
— Пришли справиться о твоем здоровье, — тихо уронила она.

— Кто?

Она ничего не ответила. Тогда Панаев поднялся со стула и прошел на кухню.

Посреди кухни стоял усатый жандармский унтер в полной амуниции и о чем-то спрашивал кухарку.

Панаев взглянул на жандарма и ему показалось, что он задыхается.



НАСТЕНЬКА

Вечером, когда возвращался от Победоносцева, почувствовал, что его захватила тоска.

В легких не хватает воздуха, сердце усиленно стучало и болела правая сторона головы.

Шел, не замечая ни улиц, ни прохожих. Над городом нависло серое небо. Дул ветер. Моросил дождь. На набережной мерцали редкие фонари. Достоевский остановился у гранитного парапета, облокотился и стал смотреть в воду. Вода была черной, от нее поднималась сырость.

— Законники! Фарисеи! — Федор Михайлович плюнул в воду.

Мимо пробряцали шпорами двое военных в высоких блестящих киверах. Они недоуменно взглянули на господина, стоящего у парапета. А тот бормотал:

— Лицемеры, подлые душонки, всюду пакость... Сами чистенькими хотят быть, не согрешить, а в душе у всех мерзость.

Прошла женщина в легкой жакетке с ридикюлем в руках. Замедлив шаг, она вдруг повернула обратно и остановилась около Достоевского — тоже посмотрела на реку.

— Проклятая жизнь! — проговорила ломким срывающимся голосом. — Дождь. Вся промокла, а спать,

видно, без ужина придется, да и хозяйка ругаться будет. Не любит, когда без гостя приходишь.

В седом дождливом тумане сумерек лицо ее казалось зеленоватым, а подведенные черные глаза выделялись впадинами.

— Как вас зовут? — спросил.

— Анастасья, — ответила она, — можно и Настей, а ежели угодно и Настькой... У нас клички собачьи... как и ремесло.

Настя! — так звали героиню его «Белых ночей».

— Далеко живете? — спросил машинально.

Женщина, видимо, обрадовалась.

Она еще ближе пододвинулась, почти прижалась плечом к его плечу.

— Миленький! Пойдем ко мне. Тут недалече, почитай — рядом, только спервоначалу след бы покушать чего да и согреться — водки бы.

Видя, что человек молчит, она заговорила быстро и возбужденно:

— Я не какая-нибудь, я ведь от нужды, мать у меня в Серпухове — мещанка, больная, еще сестренка. В Серпухове я двухклассное кончила, а потом у мадамы в мастерской служила, да выгнали.

Ее черные подведенные глаза смотрели умоляюще:

— Я бойкая, спеть могу, если угодно. Дорого не возьму, сколько пожалуете, ей-богу, целый день во рту маковой росинки не было.

— Не надо столько слов... Лучше извозчика, — вяло ответил Федор Михайлович.

— А вот он здесь, Ванька!

Возница, нахлестывая свою клячу, подъехал. Настя ухватила Достоевского под руку и повела к пролетке. Пролетка была с поднятым кожаным верхом.

— Разрешите спервоначала до трактира доехать...

Достоевский кивнул головой. Нашарил в кармане брюк кошелек, достал серебряный рубль и подал Насте:

— Хватит?

— Цены там ночью завсегда дороже, прибавьте полтину, в самый раз будет.

Достоевский дал еще рубль.

— Сразу видать образованного кавалера, — подо-

бострастно прошептала девушка и прижалась мокрой щекой к его губам. От нее шел запах дешевой пудры и свежей женской кожи.

Пока ехали, пока останавливались у трактира, Достоевский молчал, а Настя без умолку что-то рассказывала, а что — Федор Михайлович не слушал. Она купила бутылку водки, французский хлеб, колбасы и селедок. Деловито сказала:

— Рупь восемь гривен, еще сдача есть.

— Ну и хорошо, — отрывисто бросил Достоевский, — скоро приедем?

— Сей секунд.

Наконец и Настин дом, трехэтажный, приземистый. На лестнице пахло помоями и кошками, ступеньки крутые и скользкие. Настя вела Достоевского за руку. Рука у нее была влажная и горячая.

«Зачем я здесь? — подумал писатель. — Может, уйти? Дать денег и уйти... А что делать дома? Семья на даче, а в пустой квартире тоска еще больше заест... Заест. Посижу у Насти — хоть чаю выпью. Пил у его превосходительства... Теперь у проститутки».

— Пришли! — сказала Настя и в темноте дернула за ручку звонка. Звенящий колокольчик и чей-то жирный голос за дверью:

— Кто тут?

— Это я, Варвара Алексеевна, с хорошим гостем.

Дверь отворилась. На пороге, держа в руке оплывшую сальную свечу, стояла хозяйка в грязном ситцевом капоте. Лицо широкое, обрюзгшее, курносое, с бесформенным подбородком. Глазки серые, хитрые.

— Хорошим гостям завсегда рады! Проходите, господин, проходите, погодка-то нынче аховая.

Запах плохо выстиранных пеленок, чего-то кислого и едкого ударил в нос Достоевского.

Он улыбнулся страдальчески:

— Очень приятно познакомиться!

Настина комната была сразу же за кухней. Три шага в ширину, четыре в длину. У стены деревянная кровать, застеленная одеялом из лоскутков. Красная ситцевая занавеска висела на окне. У окна стол, на столе — стакан, кружка с отбитой ручкой, тарелки и

дешевая стеклянная синяя вазочка с несколькими кусочками колотого сахара. Комод, зеркальце, банка с помадой, карточка с двумя воркующими голубками в рамке из ракушек, лубочный портрет царя Александра Второго в гусарском мундире, а над ним иконка с изображением Николая Угодника. За иконой верба и две бумажные розы. Табуретка и стул.

Свободного пространства было мало.

— Вы уж извините! — сказала девушка. — Бедность.

Сальная свеча коптила. Настя сняла нагар, свет сделался ровнее. Достоевский скинул пальто. Девушка бережно взяла и повесила на гвоздь, заменявший вешалку. Сама она без жакетки в голубом ситцевом платье, обшитом у ворота стеклярусом, выглядела стройной и молодой.

На шее разноцветные бусы.

Теперь Федор Михайлович хорошо разглядел ее лицо. Оно было удлиненным, с карими глазами, черными волосами — очень красивыми и густыми. На вид ей было лет двадцать — двадцать два. Достоевский сел:

— Настя, вы часто богу молитесь?

— Как же. Чай, православная — и в церкви, и у попа на духу бываю!

За перегородкой заплакал ребенок. Послышался звук раскачиваемой люльки.

— Это у хозяйской племянки, Катька, дочка, кричит. В грудях молока нет, вот дите и надсажается.

Настя деловито разложила на тарелках закуску — колбасу, селедки, огурцы, нарезала хлеб.

— Хозяйку разрешите позвать? Она только чаю да водки выпьет и уйдет.

— Что ж, пожалуйста, — согласился Достоевский.

— Спасибо вам... Как вас величать-то?

— Федор Михайлович.

— А по какой вы части?

— По письменной.

— Я так и гадала: или учитель, или чиновник.

Вскоре вошла хозяйка, неся кипящий самовар.

— Стриженая девка косу заплесть не успела, а самовар уже готов. Я китайского цветочного заварила.

— Варвара Алексеевна, садитесь с нами за компанию, — пригласила хозяйку Настя.

Достоевский поддержал.

— Садитесь, места хватит.

Хозяйка жеманно проговорила:

— Грешница, люблю себя побаловать пуншиком.

Села, налила чаю, добавила водки и сахара и стала степенно, причмокивая, пить. Настя после трех рюмок водки жадно набросилась на еду.

— Трудно девице, ежели у нее нет богатого кавалера, — протянула хозяйка. — Верьте слову, господин, мне на них глядеть, кажись, привычно, и то временами под сердце подкатывает. У меня племянка. Опростоволосилась, а теперь с младенцем мучается.

Допила и встала:

— Благодарим за угощенье.

Настя доела последний кусок колбасы и пьяно посмотрела на гостя.

Он сидел скучный, с серым лицом, и курил.

— Вы как, Федор Михайлович, отдохнуть, может, желаете?

Достоевский очнулся:

— Отдохнуть? — переспросил он, — а вы его (указал кивком головы на образ Николая) не боитесь?

Девушка обиделась:

— С чего-й-то? Когда у меня гость, то я икону переворачиваю ликом к стене.

Федор Михайлович весь передернулся: ликом к стене! Он обхватил колена руками, наклонил голову, и сейчас, в этой комнате, при свете сальной свечи отчетливо выступил его белый выпуклый лоб.

Настя встала и подошла к иконе.

— Не трогай! — тихо, почти шепотом, произнес Достоевский.

— Воля ваша, Федор Михайлович! Да что вы так смотрите на меня?

Она вдруг застыдилась и почувствовала, что гость совсем не похож на других, и что если ей придется раздеваться перед ним, она не сможет этого сделать.

В соседней комнате заплакал ребенок.

Послышался женский выкрик: «Господи! Да замолчи постылый!» — и затем мягкое шлепанье и визг младенца.

Достоевский вскочил со стула:

— Велите ей оставить ребенка, разве так можно?..

Он выхватил из кармана кошелек, достал бумажку и еще какую-то серебряную мелочь и стал совать в руки испуганной Насти:

— Вот, дайте ей, дайте и скажите, чтоб она не смела бить ребенка!

— Да за что ей столько денег! — удивленно протянула девушка.

— Дайте, дайте! — повторил Достоевский.

Настя стояла и не шла. Тогда он стал вытряхивать из кошелька все деньги на стол. Тут были золотой и рубля три серебром.

— А это себе оставь, только пусть замолчит.

На губах у Достоевского проступила пена. Затопал ногами:

— Иди, иди, сию минуту!

Настя всплеснула руками и выскочила в коридор. Федор Михайлович в изнеможении сел на кровать, тяжело задышал:

— Только бы не припадок! Надо лечь и ни о чем не думать.

В соседней комнате послышались голоса, и вскоре крик ребенка прекратился.

Когда Настя вошла обратно, Достоевский полулежал на кровати. Голова была закинута, рот искривился, глаза широко раскрыты, видны были два белка, а тело содрогалось в конвульсиях эпилептического припадка. Настя вскрикнула и позвала хозяйку.

Придя в себя, Федор Михайлович увидел склонившуюся над ним Настю, которая прикладывала к его голове мокрое полотенце. Ворот рубашки был расстегнут, ботинки сняты.

— Страсть испугалась, — сказала она просто. — Ненароком умрете, думала.

— А тебе жалко было бы? — выдавил он.

— Жалко, — сказала девушка с убеждением. — Вы барин хороший, только несчастненький...

Уличная девица назвала его несчастным! Как это она догадалась? Правильно — я подлый и несчастный! Как на каторге.

— Деньги ваши, — сказала Настя, — я не возьму. Вы не в себе были, когда давали.

— Нет-нет, возьми, разделите между собой. — Он говорил как в бреду. — А меня вспомни, обязательно вспомни! Несчастненького Федора! А теперь дай одеться.

Девушка, ни слова не говоря, подала ему ботинки и сюртук. Помогла надеть пальто, вынесла свечу и посветила ему в коридор. Оба ничего не говорили. И только, когда Федор Михайлович спускался по грязной лестнице, она, поставив свечку на ступеньку, подбежала к нему, схватила его за голову, прижала к своей груди, крепко, порывисто и сквозь слезы вымолвила:

— Бедненький ты мой, голубчик!

...И опять была улица, уже не черная, а серая. Серый утренний туман поднимался с Невы. Контуры домов казались тоже серыми и грязными.

Достоевский шел, подняв воротник, засунув руки в карманы и однозвучно повторял:

— Несчастненький, несчастненький.

Он шел без цели, шел для того, чтобы идти. И город — вместилище жизни задавленных богатыми и жирными, злыми и глупыми, город — проклятый и одновременно великий, город нищих, гноящихся домов и сверкающих дворцов — раскрывался перед ним, как знакомые страницы написанной книги.

Вторая встреча с Настенькой произошла случайно и тоже вечером, когда не работалось и когда тянуло из кабинета на петербургские улицы, чтобы видеть людей, о которых думал и будет всегда думать.

Разве не любопытны люди в этот вечерний час? Посмотрите: перед освещенной витриной кондитерского магазина, где красуется шоколадный рог изобилия, — молодой человек с бледным сероватым лицом жадно смотрит на большую конфетную коробку, кокетливо перевязанную пышным шелковым бантом. На нем старое темно-зеленое пальто, узкое в талии, с поднятым воротником, а на голове форменная фуражка с чиновничьей кокардой. Руки плотно засунуты в карманы.

— Обязательно он мечтает о том, — решил Достоевский, — чтобы купить бонбоньерку для своей красавицы.

А господин в цилиндре, хорошо одетый, с толстым двойным подбородком, солидными седыми бачками и носом, испещренным жилками, — наверное, доволен существованием. Чин у него не ниже статского советника, он добрый семьянин, хотя любит блудить тайно. Дома у него жена, дочка-невеста и сын-балбес. Сказавши супруге, что едет к приятелю «повинтить», он вместо этого зайдет в кондитерскую, приобретет бонбоньерку и отнесет ее к даме своего сердца.

Достоевский остановился у витрины рядом с молодым чиновником. Статский советник вошел в кондитерскую и через несколько минут вышел, держа в руках завернутую коробку конфет. Бедный молодой человек злобно взглянул на солидного господина и вполголоса обронил: «Подлец».

— Вы что? — спросил Достоевский.

Чиновник оглянулся на Федора Михайловича.

— Это не по вашему адресу, милостивый государь, а вот по их, — и ткнул пальцем в сторону цилиндра.

— А вы его знаете? — спросил писатель.

— Знаю. Начальник отделения в нашем департаменте, в скором времени генералом и вице-директором станет, первостепенный скот. А вас почему сие интересует?

— Да так, — ответил Федор Михайлович, — вы не думайте, что я хочу обидеть сожалением. Молодые люди страсть как обидчивы, — смотрел я на вас и думал: до чего человеку хочется купить бонбоньерку!

— А в кармане у меня четвертак, а до двадцатого числа еще далеко, вот и стою, гляжу, и гневом распаляюсь. Есть у меня желание другое, сударь. Трахнуть кулаком по стеклу, чтоб все вверх тормашками полетело. Желанье есть, а сделать не могу. По природе я скромен и боязлив, силу же имею только после графинчика очищенной.

Достоевский, сам не зная отчего (стих такой нашел), предложил чиновнику папиросу и спросил:

— А вы долго еще собираетесь лицезреть шоколадные торты и рог изобилия?

— Делать мне вечером нечего.

— Пройдемся?

— Ежели желаете.

Они пошли. Фонари, прохожие, цоканье копыт, смех. На углу — ярко освещенный ресторан, у дверей в расшитой золотыми галунами фуражке — старый швейцар из солдат с нафабренными щетинистыми усами.

И Достоевский почти дружески произнес:

— Не сочтите за обиду, но позвольте мне пригласить вас разделить со мной компанию.

— Буду признателен, — кивнул головой чиновник.

Когда чиновник в гардеробе снял с себя пальто, он оказался в старом, тщательно вычищенном форменном синем сюртуке с золотыми гербовыми пуговицами. Брюки были несколько вздуты в коленях.

Посетителей в ресторане было немного. Достоевский и его новый знакомый заняли столик у окна. Достоевский заказал себе чай с лимоном и для чиновника — графинчик водки и порцию сосисок с капустой.

— Простите за скромное угощение. Я сейчас не при деньгах, — сказал конфузливо. — А главное, не обижайтесь, я по вашему лицу вижу — вы вспыхнуть готовы, мол, «благодетель нашелся, покровительствует, хочет на рубль свое благородство показать»... Ведь вы так мыслите, признайтесь?

— А вы, милостивый государь, почти что угадали, — сказал чиновник, — и если бы вы мне этих слов сейчас не сказали, я обязательно бы ушел, от стыда ушел. Я ведь семинарист архангельский, но не Ломоносов, а все же два года в университете пробыл, мечтал о науках, об идеалах. Толстого, Тургенева, Некрасова, Достоевского почитывал — нынешних учителей жизни. Комедии Островского в театре смотрел. Потом в департамент поступил и превратился в презренного помощника столоначальника.

Молодой человек, даже не сказав «за ваше здоровье», жадно выпил большую граненую рюмку водки, еще налил, выпил и принялся за сосиски.

— Вы что же не пьете?

— Не хочу! — ответил Достоевский.

— Ну и не надо. Мне больше останется. И затем, позвольте узнать, кто мне честь делает угощеньем,

кого я должен поминать в своих молитвах? Откройтесь, умоляю. Моя же фамилия Иванковский Александр Петрович и лет мне двадцать пять.

Он вызывающе уставился на Достоевского.

И тогда Федор Михайлович тихо молвил:

— Я литератор и зовусь Достоевским.

Чиновник с шумом отодвинул стул, поднялся. Лицо его выразило волнение и чрезмерное удивление.

— Федор Достоевский! Боже мой! И это не сон. Ах я дурак! Ведь точно вы — Достоевский! Такой, какой в журналах.

Федор Михайлович дружески усадил молодого человека за стол:

— Не надо шуметь. Зачем?

Он отпил остывший чай и закурил.

В зал, пошатываясь, вошел армейский офицер с красной физиономией и лихо закрученными рыжими усами, а за ним — черноволосая девушка в голубом платье из дешевого материала, обшитого у ворота стеклярусом. Офицер плюхнулся на стул недалеко от столика, за которым сидел Достоевский, и громко, не стесняясь, позвал:

— Барышня! Попрошу аллюром сюда!

Девушка в голубом поместилась напротив офицера, спиной к Федору Михайловичу. К офицеру подбежал лакей.

Иванковский нагнулся к Достоевскому:

— Я вот вам, Федор Михайлович, хочу поэтическими словами сказать: «Блажен кто верует, тепло тому на свете!». А я верить не могу и идей в голове никаких нет. Все съел департамент.

Он усмехнулся и каким-то деревянным голосом проскандировал: «На запрос Вашего высокоблагородия за № 342 от января месяца сего года честь имею сообщить нижеследующее...» Такова единственная литература, коей теперь изо дня в день занимаюсь... Повеситься в пору... Раньше на свои вопросы ответы искал в хороших книгах, а теперь все ответы нахожу...

Он налил рюмку водки и выпил:

— Вот в чем-с! Думал в любви найти идеал — семейную жизнь устроить, с милой, мол, и в шалаше рай, — ан, не выходит: милая шалаша не желает,

ей квартиру из трех комнат подавай. И стал за милой богатый лавочник из новых (в коммерческом училище обучался) ухаживать, а я и презента приличного сделать не могу.

На глазах у чиновника показались пьяные слезы. Он резко выпрямился.

— Не могу-с... Вы, Федор Михайлович, сами видели, с каким вожделением на коробку с шелковым бантом смотрел. Молодой человек двадцати пяти лет от роду и двадцать пять целковых в месяц. Комната от хозяйки и тараканы в щелях. Подходящая тема для вас, Федор Михайлович. Даже такие барышни,— ткнул пальцем в сторону дамы офицера, — и те брезгуют, а по сему я еще выпью...

Он налил последнюю рюмку, положил локти на стол и опустил на них голову.

Достоевский, насупившись, сидел перед пустым стаканом и смотрел на склоненную голову пьяного чиновника. Было писателю неловко и тяжело. Неловко от любопытствующих взглядов лакея, уже несколько раз нагло проходившего мимо столика, и оттого, что видел перед собой обнаженную душу человека, так смешно и все же трагически расстратившего свои жизненные силы.

Мысли Федора Михайловича прервал развязный лакей:

— Господин! Больше-с ничего не потребуется? А затем извольте попросить вас разбудить приятеля, — лакей ткнул грязной салфеткой в сторону чиновника, — здесь ресторанное заведение-с, а не ночлежный дом... Другие поблагороднее посетители обижаются!

Достоевский вскинул глаза на лакея.

— Вы это мне? — спросил он, растягивая слова, и лакей растерялся.

— Я на тот счет-с, ваша милость, — проговорил заискивающе, — что хозяин обижается, а наше-с дело маленькое-с.

— Сколько с меня?

— Два рубля двадцать копеек!

Достоевский бросил на стол трехрублевую бумажку:

— Сдачу оставь себе!

— Покорно-с благодарим вашу милость, — и отошел.

За соседним столиком военный с капитанскими эполетами пил большими рюмками коньяк и угощал женщину. Он фальшиво напевал мотив из «Прекрасной Елены» и спрашивал свою даму:

— Не желательно ли вам, мамзель, испробовать персиков?

— Мне бы антоновское яблоко, — ответила она.

— Это слишком низкое угощение; уверяю вас, мамзель, персики не в пример лучше дамскому полу подходят.

Женщина твердила об яблочке, а офицер настаивал на персике.

Достоевский, оторванный от своих размышлений, взглянул на женщину и вздрогнул. Настенька! Та самая Настенька, которая его пожалела и назвала несчастным. Какой большой город, а как узки дороги человеческие!

— Эй! — заорал офицер. — Жи-ва подать персиков!

Персиков в буфете не оказалось.

— Черт вас возьми! — горячился офицер. — Безобразие! Где у вас фрукты? Где, морда, я тебя спр-рашиваю!?

— Прикажите моченых яблок, а то засахаренных груш-с! — лепетал лакей.

— Хочу груш!

Лакей рысцой побежал к буфету.

— Напрасно вы это, — сказала женщина, — лучше бы моченого яблочка!

— Тебя не спрашивают, тварь, — рявкнул офицер, — твоя должность на задних лапках ходить, а не рас-с-уждать. Ваша сестра хуже насе-комого. Пей!

Он налил рюмку коньяку и стукнул кулаком по столу. Женщина с видимой неохотой подчинилась:

— Последняя, ей-богу, в нутро не влазит, я и так пьяна... Пойдемте лучше домой.

— Куда? — надменно спросил офицер.— Где твой дом?

— Да вы вчерась у меня были.

Лакей принес на тарелке две засахаренные липкие груши.

Настя, неумело держа в руках грушу, стала кушать. Офицер выпил рюмку и вдруг неожиданно схватил оставшуюся на тарелке грушу и бросил ее в девушку. Груша попала Насте между глаз, и капли сиропа сползали с ее подбородка.

— Как вам не стыдно, капитан! Разве так можно? Ведь это человек, женщина, а вы ее унижаете!

Перед офицером стоял Федор Михайлович. Глаза его были гневны, руки дрожали.

Офицер как бы протрезвел.

— А вы, милостивый государь, по какому праву вмешиваетесь не в свое дело? Кто вы такой?

Настя, широко раскрыв глаза, смотрела на писателя. Лицо ее покраснело, она узнала Федора Михайловича, ей было стыдно. Стыдно не потому, что ее оскорбили, а оттого, что это видел Достоевский.

— Да я на них не в обиде, — вымолвила она каким-то звенящим от слез голосом, — не в обиде, не беспокойтесь, Федор Михайлович, не в обиде! — покорно: — Разве мы смеем обижаться?

Чиновник, очнувшись от сна, поднялся со стула и подошел к Достоевскому.

— Кто я? — сказал Федор Михайлович капитану, — я отставной офицер и как старший по годам говорю вам, что нельзя так дурно обращаться с девушкой! Вы, капитан, решили, что раз она обиженное, зависимое существо, значит, с ней можно поступать по-хамски? Нет, нельзя.

И тогда чиновник взял Достоевского под руку:

— Что вы, Федор Михайлович, с ним рассуждаете? Разве они могут понимать! Они только невежество показывать могут. А вы, капитан, за великую честь должны считать разговор с Федором Михайловичем Достоевским! Мы с вами сдохнем, и никто не заплачет, а книги Федора Михайловича в веках останутся!

Офицер улыбнулся виновато.

— Ну что вы, господа, из-за такой шкуры и такие слова!

Он искренне, удивленно вытаращил осоловелые глаза на Достоевского:

— Да я с великим удовольствием ради одного знакомства с вами готов извиниться, пьян, как скот-т-и-

на, вер-рно... Извиняюсь перед вами, как перед бла-а-родным человеком и отставным офицером. Но перед шлюхой мне честь не позволяет достоинство ронять. Эй! Эй! Буфетчик! Шампанского!

Чиновник сказал вполголоса:

— А ведь капитан и впрямь, Федор Михайлович, не виноват. Разве он понимает? Мозги не такие.

Достоевский пожал плечами:

— Пить я не буду, не могу, прошу извинить.

— Жаль, жаль, — огорченно проговорил офицер. — А где служили?

— В Сибирском линейном батальоне.

— Сибирский, значит, земляк. Музыка, туш! Урра!

Достоевский кивнул капитану головой и направился к выходу.

У вешалки, когда Федор Михайлович надевал пальто, к нему подбежала Настя. Вид у нее был полубезумный. Схватила руку Достоевского и прижала ее к своей груди.

— Век помнить буду, — прошептала она, — буду, буду... Повернулась и убежала в ресторанный зал.

И была еще одна встреча, последняя. Незадолго до смерти выступал Достоевский в зале Кредитного Общества, что напротив Александринского театра. Выступал от Литературного фонда на благотворительном вечере. Как всегда в последние годы, его выход на эстраду молодежь приветствовала горячими аплодисментами. Читал он из «Братьев Карамазовых» главу «Исповедь горячего сердца». Читал проникновенно, отчетливо, как бы рассказывая слушателям самое сокровенное. Глухой голос Достоевского был слышен в самых задних рядах.

В артистической его поздравляли. Некоторые искренне, другие с плохо скрытой завистью.

Когда он уже в шубе, сопровождаемый курсистками и студентами, спускался по лестнице, от одной из колонн отделилась женская фигура.

— Федор Михайлович, — просяще прозвенел надтреснутый голос.

— Настенька, — удивился писатель. Он ее снача-

ла не узнал, то есть узнал, но не увидел в облике Настеньки ту, прежнюю. Перед ним стояла скромно одетая молодая женщина не в нелепой шляпке, не с намалеванными бровями, не напудренная, а в белом платке, полупальто, с усталым, но не запятнанным румянами лицом и с глазами, имеющими право смотреть ровней на каждого.

— Я, Федор Михайлович, тут мимо проходила и вижу — афиша, а на ней ваша фамилия. Я и спрашиваю у служак: где можно билетик купить, у меня, на счастье, полтинник нашелся... Я наверху сидела, вас только и слушала. Слушала и плакала.

— Рад, рад.

Достоевский взял ее руки и погладил. Настя законфузилась. Окружающие деликатно отошли.

— Где вы теперь? Как вы? Это страшно интересно и важно. Да, важно.

— В швейной мастерской. После того, как вы с офицером-то поспорили, не могла гостей принимать, опостылело.

— Выйдем, Настя, на воздух, устал я. Вы меня проводите?

— Как же, с великим удовольствием, я вам благодарна на всю жизнь!

Они вышли на Невский. Вечерний влажный воздух. Шум оживленного проспекта, экипажей. Достоевский взял ее под локоть.

— Рассказывайте, — торопил, — ведь может и не встретимся (локоть ее вздрогнул). Да не потому, что я не хочу, а потому что все под богом ходим, я больной старик, даже за границу к немцам лечиться ездил...

— Что вы! — огорченно воскликнула Настя. — Вам господь еще веку прибавит...

— О себе говорите, Настя.

— В магазине — швейкой. А квартиру с подругой имеем на Кронверках. Жених есть. — (Это сказала с гордостью). — Слесарь. Его, как вас, Федором зовут, имячко незабвенное. Иду я, значит, из магазина, и вижу афишу и извозчики у подъезда... — Она спуталась и замолкла.

Достоевский сбоку посмотрел на нее. Он был обрадован встречей. Обрадован до дрожи.

А Настя снова заговорила:

— Полгода назад мне одна важнецкая актерка из Александринского театра — у нас платья на нее шьют, — разъяснение дала о вас, где то есть ваши книги продаются. Я и купила роман «Преступление и наказание». Читала вслух. К нам и другие девицы слушать приходили.

— Ну и что? Как восприняли? — Федор Михайлович довольно улыбался и грудь как-то меньше болеть стала.

— Сами, небось, знаете. Душу нашу вынули. Гляньте, мол, как живем. Гляньте и запамятуйте.

Она остановилась. В фонарном свете, в гаме и шуме людной улицы Настя ничего, кроме него, не видела. И как тогда, в ту давнюю ночь, прижалась к его лицу своим свежим влажным и поцеловала в щеку.

По Невскому шли прохожие, у каждого свои дела большие и маленькие, шли прохожие, привыкшие ко всяким публичным сценам, и не было им никакого дела до того, что молодая женщина в платке целует пожилого мужчину. Кого этим удивишь?..



КУРСИСТКА

Федор Михайлович собираясь выйти из квартиры и, уже одетый в пальто, нервно шарил по карманам, ища перчатки, как раздался звонок. Звонок был нерешительный, сомневающийся. Дернулся, замолк, потом снова трепенулся.

Писатель открыл дверь. Перед ним стояла невысокая худенькая девушка, очень юная. Ну, лет от силы девятнадцати. На ней была жакетка, отделанная стареньким мехом коричневого цвета. На голове — шапочка из того же меха. «Очевидно, все это переделано из материнской шубы...»

— Здесь живет Федор Михайлович Достоевский? — спросила робко девушка.

— Да. Чем могу служить?

Слабый румянец окрасил ее щеки:

— Вы, кажется, уходите? Я пришла не вовремя?

— Да, я по одному неотложному, именно неотложному делу должен...

— Ах, как жаль, — сказала девушка все так же робко. — Я не располагаю, у меня часы считанные и притом я живу на другом конце города, а мне завтра уезжать. Неудобно получилось...

— Да-с, занят, — упрямо проговорил Федор Михайлович, избегая смотреть на ее лицо («чтобы не

расчувствоваться, а уж если расчувствуюсь, обязательно останусь дома».)

Достоевский думал, что девушка уйдет, но она стояла в дверях, загораживая собою выход.

— Мне, право, некогда, — сказал Достоевский извиняющимся голосом.

— Но и мне некогда, я к вам больше ведь не смогу зайти, — она говорила тихо. — И я прошу вас остаться, у меня к вам серьезный, очень серьезный разговор. Я, прежде чем к вам идти, долго сомневалась — надо ли? Я, знаете, робела, даже и сейчас, но раз надо... — она не докончила свою мысль, вскинула на Достоевского глаза. Серые, открытые...

И писатель понял, девушка пришла по важному делу, и он не имеет права уйти.

— Ну что ж, прошу. — Он посторонился, пропустил девушку. — Раздеться можно здесь, вот вешалка. На улице, кажется, ветрено?

— Кажется. Я не обратила внимания. И что с того, что ветрено, не суть важно.

Она сняла жакетку. В коричневом платье с белым воротничком девушка казалась еще тоньше.

В кабинете Достоевский предложил ей стул, а сам остался стоять, потирая руки.

— Ну-с, я слушаю.

Девушка сидела выпрямившись, следя за каждым движением Достоевского.

— Вы бы сели, — наконец проговорила она, — мне тогда легче будет говорить. Мне обязательно нужно ваше лицо видеть.

Достоевский улыбнулся, сел, попросил разрешения закурить.

— Я, когда шла к вам, приготовила целую речь и замечательно убедительно получалось, а теперь мне трудно, но все равно... Вы, Федор Михайлович, очевидно, по моему виду догадались, что я курсистка. Учусь второй год, сама я вологодская, там окончила гимназию. Я ваши произведения все прочитала, и даже «Бесы».

Глаза у девушки сверкнули.

— Много там у вас страшного, непонятного. И «Дневник писателя» читаю. Знаете, я бы вовсе его и не читала, но там есть мысли очень глубокие... И многое кривое!

Достоевский вздрогнул, жадно затянулся дымом, закашлялся.

— Я знаю, вам больно, Федор Михайлович, слушать, но я иначе говорить не могу, я бы себя человеком не считала, если бы об этом умолчала. Вы написали «Бедных людей», «Неточку Незванову», «Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание». Какие это вещи! Вот я смотрю на вас, на живого Достоевского, у вас такой больной, измученный вид и лоб как у Сократа, и думаю: сколько он знает, сколько предвидит и сколько страдает!

— Сколько он страдает! — вдруг проговорил Достоевский и вскочил.

Девушка испуганно на него взглянула.

— Я вас напугал, великодушно простите! — Он снова сел. — Прошу вас, говорите, говорите. Вы очень хорошо говорите.

— Я вот завтра в одиннадцать часов дня уезжаю, нас шесть курсисток уезжает, мы записались в санитарный отряд. Нелегко было туда записаться, знакомый военный врач нас с собой берет. Мне, конечно, труднее будет, потому что я филологичка, а те медицине учились.

Достоевский невольно посмотрел на ее руки. Это были бледные тонкие руки с синими жилками и длинными пальцами.

— Последнюю неделю я ходила в Мариинскую общину, училась перевязки делать, это, конечно, немного, это очень немного, Федор Михайлович, но где не поможет знание, поможет любовь.

— Вы опять прекрасное слово сказали — любовь! Но как вот вы, такая слабая, такая беззащитная будете там, на Балканах? Я знаю эти лазареты, я знаю раны, ужасные раны бывают, кровоточащие, загрязненные, кровь и страдания, — Достоевский закрыл глаза. — Это не под силу девушке, это подвиг для женщины, которая страдала, которая в этом самом тяжелом труде хочет очиститься. Ну а вы?

— Что я? — спросила девушка. — Что я, Федор Михайлович? И почему вы так говорите? Очищение, подвиг! Вы что ж думаете, что только Соня Мармеладова, что только униженные и оскорбленные способны на подвиг?

— Да нет, не то, не то, совсем не то, вы меня не так поняли, не так меня поняли, сударыня.

— Нет, Федор Михайлович, я вас прошу, я все вам расскажу, зачем я пришла. Дайте мне выразить свою идею, а потом вы сразу мне и ответите, хорошо?

— Хорошо, я готов вас слушать, я готов вас слушать, сколько вам будет угодно...

Он снова закурил.

— Я всегда любила нашу литературу. Любила ее за правду жизни, за честность мысли. Я требовательная, вы не смотрите, что я такая на вид робкая, слабая, это только видимость, у меня душа упрямая...

Достоевский закивал головой, ему понравилось определение «упрямая душа».

— Мой отец священником был, добрый, хороший и слабохарактерный, он, вы знаете, не из таких попов, — покраснела она, — которые только и знают, что службы да требы. Нет, он у меня светские журналы и книги читал, его вольнодумцем у нас звали. Я у него единственная дочка. Меня отец не в епархиальное училище отдал (не любил он поповен), а в гимназию. Я по вашему лицу, Федор Михайлович, вижу, что вам не нравится, когда обсуждают духовенство. А вот я и папа (она сверкнула глазами), мы не только обсуждали, но и осуждали. В гимназии у нас новая начальница, она из немецких баронесс была, родственница губернатора, все ко мне придиралась, меня невзлюбила, а законоучитель, отец Михаил, так тот называл меня сорной травой. Вот, говорит, выросла в вертограде духовном сорная трава. А тут еще, — девушка запнулась, но затем быстро оправилась. — В Вологду ссыльный студент приехал, его выключили из Московского университета. Стал он ходить к нам. Мы с ним рассуждали о боге, о государстве, о Белинском, о Чернышевском, о Толстом и о вас, Федор Михайлович. Он мне дал прочитать Эрнеста Ренана «Жизнь Христа». Но мама не захотела, чтобы он к нам ходил, так ему и отказали от дома. А потом его по распоряжению Третьего отделения отправили в далекий городок Тотьму. А какой это был человек, Федор Михайлович!

А в позапрошлом году на водосвятии мороз был злющий, отец простудился и помер. Остались мы с мамой вдвоем. Стал за меня свататься чиновник один из Губернского правления, вдовец, но богатый и еще молодой. Я отказала, и тут на меня все стали смотреть, как на какую-то отчужденную — гордячка, мол, гимназистка. Тогда я сюда уехала учиться. Только маму жалко, она там одна среди зверей. Ах, какие звери в провинции, Федор Михайлович, какие звери! Здесь в Петербурге хороших людей узнала и много книг прочитала. Я ведь все свободное время в публичной библиотеке сижу, читаю.

Достоевский не выдержал. На девушку смотрело теперь совсем другое лицо — холодное и презрительное.

— А вы, простите, что я вас перебиваю, мне это важно для дальнейшего разговора, вы не можете понять, насколько важно, к этим хорошим книгам атеистические относите? Такие, где материя над духом торжествует? И еще вопрос — Христос есть богочеловек, спаситель мира или, по-вашему, просто ренановский проповедник? Не бог, а самый земной человек, такой, как мы с вами, ну, может быть, чуточку лучше меня?

Он взмахнул рукою, как бы отгоняя страшные видения, вскочил со стула и прошелся по комнате.

— Вы, по всей видимости, честная девушка, на подвиг, ну если не на подвиг (это слово вам не нравится), на нравственные муки идете — помогать ближнему своему... А как же помогать ближнему без заповеди Христовой! Нет любви большей, чем за других жизнь свою отдать, а? Да отвечайте же! — почти крикнул он.

— Значит, вы у меня, Федор Михайлович, ответа ждете? Вы? К слову которого прислушиваются тысячи людей? Значит, вам нечего сказать? Вы сами, значит, слабый человек!

Она тоже говорила в каком-то неясном волнении. И уже сидела перед ним не робкая девушка в коричневом гимназическом платьице с беленьким воротничком, а неумолимая, враждебная Достоевскому и всем его воззрениям. Достоевский, ничего не отвечал, шагал по кабинету.

— Ну, хорошо, я вам скажу, Федор Михайлович. — Да, я не верю в бога и я, конечно, не могу считать Христа за сына божьего. И библия и евангелие — книги для меня не божественные, а нравственные и исторические. Для меня божественное заключается не во всепрощении, не в молитве, не в вере в загробную жизнь. И не думайте, что это от того, что я молодая, что мне жить долго... Так Писемский думает. Он моей подруге сказал: «Вы, милая барышня, в бога не верите потому, что вам умирать не скоро, а как до моих лет доживете, в день по сто поклонов будете отбивать!» Нет, Федор Михайлович, совсем не потому... Для меня божественное — в человеке, в его идеалах, в его сознании долга перед обществом, в долге перед народом. А это, по-моему, у вас напрасно, когда кто-нибудь из ваших героев веру в бога потеряет, обязательно считает для себя все дозволенным, как будто вера в христианскую добродетель — узда на человеке! Если я иду помогать раненым солдатам, то это делаю не ради спасения своей души, чтобы получить возмещение в жизни вечной, а просто для того, чтобы помочь, чтобы показать, что русская женщина не раба, а свободный человек...

Она покраснела.

— Ах, опять не то, опять не то я сказала... Я пришла не для того, чтоб красоваться перед вами... Вот видите, Федор Михайлович, какая я еще глупая. Пришла к знаменитому писателю, пришла какие-то вопросы решать, а получилось совсем не так! Никто так, как вы, не умеет жалеть униженного, подметить в человеке все его духовные переживания. И женщин вы уважаете, и сами пострадали на каторге, а с другой стороны, в вас какой-то двойник живет, холодный и христианский, и не такой христианский, как Мышкин или как в «Подростке» старик, а злой, непримиримый, как Никон! Вот вы какой, вот вы какой!.. — На глазах у нее были слезы. — Вы в ваше царство небесное людей за шиворот хотите тащить... — И осеклась...

— Замолчите! — хрипло, тяжело дыша, прошептал Достоевский и больно схватил ее за плечо. — Самонадеянная и глупая девчонка! Как вы, вы можете судить меня! Как можете?..

— Федор Михайлович, — перебила она его с робостью, — Федор Михайлович, я не то хотела сказать, я это в запальчивости, я ведь к вам с чистым сердцем пришла! Простите!

Неимоверным усилием воли Достоевский переборол свой гнев.

— Желаю вам, — сказал он каким-то деревянным голосом, — счастливого пути.

— Простите!.. Она встала, неловко поклонилась и вышла из кабинета.

На вокзале Николаевской железной дороги в грязном зале третьего класса было чрезвычайно сумрачно. Зал был заполнен серыми солдатскими шинелями, походными котомками, жестяными чайниками. Стоял непрекращающийся гул от разговоров. Все скамьи были заняты, и многие люди сидели просто на сундучках посреди зала.

Около окна, почти у самой входной двери, сгруппировались отъезжающие сестры милосердия и студенты-фельдшеры. Сестры — в черных жакетках, в черных косынках, а их белые повязки с красным крестом на рукаве как бы освещали этот сумрачный зал. На студентах были солдатские шинели с погонами вольноопределяющихся.

— Ну что, Катя, были у Достоевского? — спросил маленькую хрупкую девушку высокий студент с черной бородкой и усталым желчным лицом. — Что вам сказал сей новоявленный мессия?

— Ну и была, и говорила, — строптиво ответила девушка. И не понимаю, Михайлов, почему у вас такой иронический тон?

— А как вы прикажете, уважаемая Катя, говорить о Достоевском, о писателе, который растоптал все свои первоначальные идеалы и стал проповедником православия?

Катя передернула худеньким плечом. На ее лице выразилось негодование.

— И совсем не остроумно, Михайлов, говорите заученные фразы, а не хотите проникнуть в глубину писательской души! Это несправедливо и, простите меня, нечестно!

— Наша Катенька опять находится в ажиотаже! — засмеялся коренастый блондин с веселыми голубыми глазами.

— А, по-моему, господа, Достоевский очень талантливый художник, психологический, но больной, плутает, как в египетском лабиринте.

Высокая девушка со смуглым лицом, слушавшая до сих пор молча, воскликнула:

— Ах, господи, до чего же все это надоело, едем мы с вами, дорогие коллеги, на Балканы, впереди столько интересного и нужного дела, а мы только портим себе кровь спорами, а для чего — не понимаю.

— Значит, у вас, Танечка, — сказал Михайлов, — некоторое отсутствие общественных идеалов: для вас все равно, что Достоевский, что Чернышевский...

Таня покраснела:

— Ну и хорошо, очень довольна и по крайней мере лучше буду заниматься делом, чем переливанием из пустого в порожнее, а что касается моих идеалов, то не вам, Михайлов, о них судить! Правильно сказала Катя, — ко всему-то вы подходите с готовыми мнениями...

— Извините, — Михайлов поклонился, — извините, милостивая государыня, что я вас оскорбил, я совершенно упустил из вида изречение: «Спорить с женщиной все равно, что черпать воду решетом».

Мимо прошел солидный станционный жандарм, гремя шпорами и саблею, остановился посреди зала, расправил седые усы и зычным хрипловатым басом провозгласил:

— Прошу приготовиться к отправке, воинский эшелон отходит со второй платформы через полчаса, — затем воззрился на группу медицинского персонала и более мягко закончил: — А вы, господа вольноопределяющиеся и сестрицы, прошли бы в залу второго класса, там не в пример удобнее! Чего вам среди солдатни толкаться?

— А уж это, господин жандарм, — прокричал в ответ так, чтоб слышали, Михайлов, — а уж это нам позвольте знать! Нам здесь, среди солдатни, как вы высокопарно выражаетесь, гораздо приятнее, чем среди благородной публики.

— Чего? — спросил жандарм и выпучил на Ми-

хайлова глаза, — чего вы это такое говорите, господин вольноопределяющийся? Я вам деликатное предложение делаю, а вы собачитесь...

Жандарм неодобрительно оглядел молодежь и такой же важной походкой, как вошел, направился к выходу на платформу.

Неожиданно рявкнул паровозный гудок. Солдаты и провожающие их женщины в платочках стали тесниться к выходу.

— Ну, коллеги, — сказал веселый студент, — нам пора.

— Да подождите еще, — послышалось в ответ, — успеем, публика выйдет, свободнее станет.

В дверях показалась странная фигура. Длинное пальто, черная шляпа плотно надвинута на лоб. Так плотно, что виднелись только брови и глубоко запавшие сверкающие лихорадочным блеском глаза. Человек остановился близ дверей и стал беспокойно осматривать публику.

И вдруг Катя, быстро сорвавшись со своего места, подбежала к нему.

— Федор Михайлович! — закричала она таким звонким пронзительным голосом, что он заглушил даже говор толпы. — Федор Михайлович, я так и думала, что вы придете!

Достоевский сжал ее маленькую руку.

— Думали? Думали и ждали?

— Ну, конечно, Федор Михайлович, я страсть как довольна вас видеть... Да что же мы стоим? Идемте, идемте! — Она схватила его за рукав пальто и потащила к студенческой группе. — Господа! Федор Михайлович Достоевский пришел сюда!.. — А вы, Михайлов, говорили... Ах вы книжный человек! Умный вы и сердечный, только на себя напускаете излишнюю ученость. Это очень плохо — напускать на себя излишнюю ученость, — она всплеснула руками. — Боже мой, какую я ересь говорю, совсем потерялась от радости!

И так она хороша была в своем оживлении, что все невольно залюбовались ею.

— Ах ты, Катенька, Катенька, великолепная душа моя! — И Таня, подбежав, обняла Катю и стала целовать ее в раскрасневшиеся щеки.

Все заулыбались и всем сделалось как-то легко, и не стало натянутости. Молодые люди почтительно пожимали руку писателю.

— Да я что ж, — и лицо Михайлова вдруг осветилось улыбкой и сделалось совсем не похожим на прежнее ироническое, — это вы правильно, Катя, насчет учености. А что Федор Михайлович пришел, я доволен. «Записки из мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание» и «Подросток» не только читаю, но и почитаю. Мы все, представители русской молодежи, гордимся русской литературой и хотим видеть в ней отражение своих идеалов и надежд.

Зал уже почти опустел. В открытые двери на платформу доносились звуки военного оркестра.

Подбежал молодой военный врач.

— Коллеги! — закричал он фальцетом, — что же вы? Через пять минут отправление. С ног сбился, вас разыскивая. Главный врач велел немедленно идти к вагонам, — он махнул рукой и побежал на платформу.

— Ну, так будьте здоровы, Федор Михайлович, — Михайлов протянул ему руку.

— Будьте здоровы, Федор Михайлович! Желаем вам всего лучшего, — веселый голубоглазый студент дружески потряс руку Достоевскому.

— Да, да, — Достоевский улыбнулся, отвечая на рукопожатия. — Спасибо, господа, я не забуду ваших слов, но прошу помнить: никогда не хотел оскорбить русской молодежи, всегда ее уважал, а ежели... Ну это долгая история насчет «Бесов», это, когда приедете, поговорим... А отвечу я вам новым романом, — он остановился и пристально посмотрел в лицо Кате, — совсем другим.

В медный колокол ударили два раза. Загудел паровоз. Студенты и сестры подхватили чемоданы.

— До свидания, Федор Михайлович, до свидания.

Достоевский взял руку Кати. Его опять умилила хрупкая, тонкая с синими прожилками рука, она была совершенно детской. Он взял эту руку и бережно, как прикладывался к чудотворной иконе, поцеловал ее.

Вечером при свете свечей в своем кабинете Достоевский сделал черновую запись:

«Главное и самое спасительное обновление русского общества выпадает, бесспорно, на долю русской женщины. Она доказала, какой высоты она может достигнуть и что может совершить. В русской земле много великих сердцем женщин, готовых на общественный труд и на самоотвержение».



ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ

Петроград. Влажный октябрьский ветер треплет на заборах, столбах, домах свежие, пахнущие типографской краской военные сводки: «Нашими частями оставлена Гатчина».

Мне четырнадцать лет, я худ, бледен, очень слаб, даже тяжело ходить. Мне и матери не хватает голодного пайка — восьмушки хлеба и полугнилой картошки. Когда я читал дома для школы «Сон Обломова», книжка вывалилась из рук и меня затошнило. Дважды принимался читать и дважды ощущал голодную тошноту.

И тогда я заплакал от негодования на Гончарова, спокойно-повествовательно дающего картину повального обжорства. Плакать было стыдно, но слезы непроизвольно текли по лицу. Я бросил книгу под стол, вытер слезы и лег ничком на диван.

В соседней комнате у инженера Александра Александровича садились пить чай с сахарином и с буханкой хлеба. Буханка — за проект, и это было выше денег и наград.

Буханка хлеба! Чай с сахарином! Неважно, что у чая немного медный, вяжущий вкус, зато он сладкий и горячий, а там еще есть хлеб, замечательный черствый хлеб, каждая крошка которого имеет аромат.

Инженер — друг нашей семьи, мы живем в одной квартире, у него три комнаты, и у нас три. Но когда испортилось центральное отопление, мы стали жить бок о бок в двух комнатах, самых маленьких и теплых, обогреваемых печками «буржуйками», а остальные четыре комнаты были холодны, пусты и неприветливы, на вещах лежала пыль, и пауки вили паутины.

Дочь инженера Ирка — моя подруга, ей двенадцать лет. Мы учимся в одной школе. Только я в третьей группе II ступени, а она в первой. Ирка забегает к нам и приносит кусок хлеба, кружку чаю и папиросу. Я знаю, что мне вредно курить, но дым убивает на время голод. У нас в третьей и четвертой группах все парни курят в открытую. Комиссар школы разрешает: «С педагогической точки зрения вред, но ничего не поделаешь... курите в уборной». Ирка славная девочка, у нее смешная косичка, белобрысая и сентиментальная, а лицо похоже на мордочку лисички. Я немного влюблен в нее. Вечерами мы сидим вдвоем на диване, мечтаем и целуемся, «совсем как взрослые» (так говорит Ирка). Она ставит свое приношение на стол, поближе к свету керосиновой «моргалки» (на электрической станции часто случаются аварии). У меня спазмы в желудке, слюна в горле, я хватаю хлеб и начинаю есть, запивая горячим чаем. Ирка сострадательно глядит, в ее глазах жалость взрослой женщины, и она шепчет: «Я тебе завтра утром дам еще кусок!» Это великое самопожертвование, она отнимает часть хлеба у себя. Я обнимаю ее худенькие плечи, и мы садимся на диван.

— Я очень тебя люблю, — говорю я уверенным голосом. (О! Теперь я почти сыт) и закуриваю папиросу: — Когда окончится гражданская война, мы уедем на Кавказ.

— Зачем? — спрашивает она, охваченная женским любопытством и желанием услышать от меня нечто лестное ее самолюбию.

— Зачем? — неопределенно говорю я. — Нужно... У меня есть план, о котором поговорим потом, я еще должен его разработать.

— А там горцы! — шепчет она и прижимается. — У них серебряное оружие, и они храбрые.

— Я их не боюсь.

В комнате становится холодно.

— Давай растопим «буржуйку», — предлагает Ирка.

Я лезу под стол и достаю два огромных «Свода законов Российской империи» — наследство покойного отца. Он был юристом. Десять томов мы уже сожгли. Осталось еще двенадцать. Двух томов и одной ножки кухонного стола хватает на одну топку. Тяжелый коленкоровый переплет «Свода законов» горит великолепным ярким пламенем. Становится теплее. Я ставлю чайник. Мы целуемся, неумело подставляя друг другу губы.

— Совсем как взрослые влюбленные! — радостно смеется Ирка.

Тогда приходит к нам Бобка Греков, мой приятель по второй ступени. Он старше меня, приземист, рябоват, у него ломается голос и над губой под большим носом черный пушок. Он вешает кадетскую шинель и фуражку с красным околышем на крючок у дверей. На Бобке черный суконный бушлат с красными петличками. Он донашивает старую форму. Мы с ним познакомились в сентябре 1918 года, когда прежние учебные заведения — гимназии, реальные училища, корпуса и женские институты были расформированы. Тогда проводились первые опыты совместного обучения, и вот в бывшую женскую гимназию княгини Оболенской в старшие классы перевели двадцать пять кадет из Александровского и Николаевского корпусов, реалистов из третьего училища и учащихся гимназии «Человеколюбивого общества». А для того, чтобы эта ватага молодых людей не наделала чего-либо предосудительного в женском заведении, назначили комиссара Данилу Александровича Абросимова, желчного пожилого общественника-педагога, пострадавшего от царского правительства за революционность. Абросимов действительно был деловым педагогом и сумел взять в правильный оборот разноплеменное молодое стадо. Вывеску «женская гимназия» сняли и заменили дощечкой — «41-я единая трудовая школа II ступени».

Первым этапом нашей дружбы с Бобкой Грековым явились оловянные солдатики. Мои сверстники, на-

веркое, вспомнят этих солдатиков. Их продавали до революции в Гостином дворе в соломенных коробочках Нюрнбергской игрушечной фабрики. Коробочка из двадцати пяти штук пехоты или десяти конницы стоила сорок копеек. Были и отечественного производства по пятнадцать копеек коробочка (десять пехоты и семь всадников). Но нюрнбергские солдатики имели более изящный вид и носили мундиры различных полков и даже эпох (были рыцари, наполеоновские войска, черногорцы, англичане, кавалергарды, московские стрельцы в красных кафтанах с алебардами и т. д.). В начале войны игра в солдатики стала повальным увлечением учащихся младших возрастов корпусов и гимназий. У меня был приятель из Александровской военной гимназии (ныне умерший инженер), так у того имелось двадцать тысяч нюрнбергских солдатиков. Когда он их расставлял, это было поистине грандиозное зрелище.

Бобка Греков пленил мое сердце намерением подарить мне пятьсот солдатиков.

— Я вышел из того возраста, когда играют, — сказал он в уборной между двумя уроками математики. — Возьми их себе! — Он помолчал и сурово добавил: — Я иногда буду делать инспекторские ревизии, и чтобы мой Гурко (старый солдатик на облезлом бесхвостом коне) остался командующим объединенного корпуса.

У меня тоже был старый воин Мюрат, с 1914 года командующий моими восемьюстами солдатами, но из-за пополнения армии я с сердечным сожалением решил дать отставку своему заслуженному маршалу.

У Бобки и у меня не было отцов.

Бобкин отец, хорунжий Оренбургского казачьего полка, был в 1915 году убит в Галиции, его мать жила с артистом. Бобка постоянно приходил ко мне вечерами, а иногда и ночевал. Пять кадетских лет приучили его к молодечеству и грубости, за которыми он скрывал доброе и нежное сердце. Часто Бобка рисковал быть битым, воруя на базаре картошку, которую приносил нам.

— Нате, — говорил он моей маме, — нате, Ольга Константиновна, мне удалось у знакомого мешочника случайно достать! — и при этом смотрел в сторону.

Однажды зимой, когда в комнате замерзала вода в стакане, Бобка притащил ночью тяжелую деревянную ставню.

— Откуда вы ее взяли? — удивленно спросила обрадованная мать. Бобка засопел носом и простуженным баском произнес:

— На 8-й Рождественской с окна снял. Не подыхать же вам от холода.

У мамы не нашлось силы поругать Бобку за присвоение частной собственности, уж очень было холодно, а «Своды законов» хороши только осенью. В зимнее время «буржуйка» требует более солидного топлива.

Бобка много курил, не стесняясь даже подбирать окурки с тротуара, и любил карты. Это была застарелая кадетская страсть, игра в «двадцать одно». В корпусе играли на деньги, марки, перья, иногда на истязания: «Проиграешь — получишь «смазь вселенскую», или три раза в морду плюну». Во II ступени тайком от комиссара, в уборной, играли на папиросы, хлеб, деньги; деньги делались из бумаги, каждый писал сумму и подпись, потом подсчитывали и расплачивались наличными.

Бобка продал на базаре за две керенки отцовское пальто и проиграл. Он играл, волнуясь, на его лице была написана величайшая трагедия, и он стал даже заикаться, когда ставил последний полтинник.

— На пп-полтинничек! — сказал он и, прикупив «жир», бросил карты и пошел наверх в кабинет естествознания. Там он совершил преступление: взял одну из многих банок, где в спирту плавали змеи, лягушки и ящерицы, отлил спирту в свободную склянку, а в банку с анатомированной жабой налил воды. На другой день он проиграл спирт Ваське Блинникову, семнадцатилетнему дылде из второгодников.

Через две недели жаба разлезлась в воде к великому гневу нашего комиссара.

Заподозрили сторожа. Сторож клялся и божился, что он ни при чем, и тогда Бобка пошел в кабинет комиссара и заявил:

— Данила Александрович! Из трусости я молчал, хотя спирт и выпил.

— И вас не стошнило? — удивился тот.

— Нет!

— Гм. Гм... — промычал комиссар, — пойдите во двор и помогите пилить дрова для школы!

И Бобка до вечера пилил и колол дрова, получив в благодарность от завхоза два березовых полена, которые он с гордостью принес домой.

Таков Бобка.

Он пожимает руку Ире и говорит торжественно:

— Воля! мне требуется с тобой серьезно поговорить!

Он именно говорит «требуется» и напирает на это слово. Ирка нехотя поднимается с дивана и обиженно-колко (она хочет быть настоящей женщиной) бросает фразу:

— Простите! Я не знала, что я лишняя, — и ее наивная косичка мелькает за дверью.

— Она хорошая, только не теперь! — говорит Бобка в ответ на мой сострадательный взгляд и начинает ходить по комнате: — Воля! Нет ли папиросы или «чиновника»? Есть? Спасибо! — Он с наслаждением закуривает остатки Иркиного приношения. — Знаешь?.. Юденич идет, — он поправился, — генерал Юденич идет, — и, не дожидаясь ответа (видимо, ему надо было только высказаться), говорит: — А к Юденичу многие кадеты из Псковского корпуса примкнули... Сейчас иду, а у Летнего траншею роют. Даже бабы и одна старуха лет шестидесяти, ей-богу, не вру. Вышел на Суворовский, мальчишки встретились, язык показывают и дразнятся: «Офицерский сынок. Кадет без эполет...» И еще Сережа Переверзев из нашей школы, «штафирка в очках», записался в курсанты. И кадет Михаил Шорин тоже добровольцем. (Бобка глотнул пересохшим ртом воздух). Им и форму выдали... Юнкерские длиннополые шинели и головные уборы — пирожками. Тогда на квартиру к комиссару пошел. Я у Данилы Александровича раза три бывал.

— А зачем не говорил? — интересуюсь я.

Бобка немного смущается:

— Не говорил? Да так, к слову не пришлось. Тебе бы все равно сказал, а другие могли бы подумать, что я к комиссару подлизываюсь, выслужиться хочу. А у него в квартире (в голосе Бобки оживление) холодище — не продохнуть, и в аквариуме две рыбки

золотых, так он около аквариума моргалки ставит, обогревает. Чудило! (это говорится любовно). Он, Воля, очень умный, он очень большевик, и он очень правду говорит. Я с ним в прошлый раз о корпусе беседовал, так он, знаешь, что сказал: «Вас, говорит, Греков, калечили, из вас манекенов делали: ярлычки — «честь мундира», «государь-император» и так далее. И система, говорит, вся ваша вредная была, уродливая, цуканье, презрение к штатским профессиям, к науке, искусству. Единственно у вас, говорит, хорошая черта была — это внутритоварищеская спайка». А сегодня Данила Александрович о России говорил, о кадетах-декабристах, о молодом Владимире Ленине, о брате его Александре, которого казнили. Ходит комиссар по комнате в ватной телогрейке и стихи читает Некрасова, а потом, прощаясь, говорит: — «Перед вами дороги все открыты!»... И вот я думаю.

И Бобка почти кричит:

— Да! Я, кадет Николаевского корпуса, пойду курсантом-добровольцем защищать Петроград. Да, я мерз и голодал при Советской власти, я больше не ношу погончиков с императорским вензелем. У тех Юденичей корпус, погончики и офицерский мундир, а я не хочу. Не хочу, чтобы на проводах людей вешали! Если на моих глазах будут расстреливать комиссара — я не вытерплю... я...

Он заикается, этот смешной Бобка:

— Я... я... мне дали возможность учиться, казаку-кадету. Я сволочь какая, что ли? Мне нужна фабрика или усадьба, которых у меня нету? И... ничего не надо, и... и ничего. Полковники Каменев и Шапошников, генерал Николаев в рядах Красной Армии. Генерал Николаев окончил мой корпус и Владимирское пехотное. Я Ваське Блинникову в живот коленкой пхнул, когда он назвал их изменниками. Он сам изменник... — и уже совсем тихо Бобка говорит: — Я, Волька, прошу твоего совета!

Он садится рядом со мной, вспотевший, взволнованный, в коротком потертом казенном бушлате, и его большие синеватые глаза пристально смотрят в мои.

Что мне сказать Бобке? Разве я стою его? Я худ и бледен, освобожден от допризывной подготовки в

школе. Я храбр только при Ирке и в игре с солдатиками, там я безумно храбрый военачальник и руковожу самыми трудными стратегическими операциями, но сейчас я чувствую себя ужасно приниженным, и мне чего-то стыдно перед Бобкой. Я восхищен им, его знанием военного строя, он на допризывной площадке в Таврическом саду — взводный, и начальник учебного пункта бывший унтер-офицер Волынского полка Горобчик говорит про Бобку:

— Вот это настоящий, а не сопляк!

Я знаю, что Бобка не любит сентиментальничать, его нельзя поцеловать или растроганно обнять, он не «девочка», а военный.

— Ты молодчага, герой! — говорю убежденно, — ты Гарибальди.

Бобка польщен. Сурово спрашивает:

— Значит, одобряешь?

Я со вздохом зависти и уважения киваю:

— О да, конечно.

Бобка прохаживается по комнате. За стеной у инженера Ирка играет на пианино экзерсисы. Экзерсисы монотонны и скучны.

— Я завтра утром пойду записываться, только надо себе год лишний прибавлять... — нарушает молчание Бобка.

— А если попадешь в плен? — спрашиваю я, и мне становится жалко товарища. Вот он сейчас ходит по комнате, живой, близкий и понятный, а послезавтра его могут бить прикладами и грубыми солдатскими башмаками, а потом повесить или расстрелять.

— Я в плен не сдамся, а если возьмут — трусить и просить пощады не буду. — Он снова шагает по комнате, напевая свою любимую песенку о фуражке.

Фураня милая, не рвися,
Тебя сберег я навсегда,
С тобою бурно пронеслися
Мои кадетские года!

— Знаешь что, — говорит Бобка, — знаешь что, давай я устрою последний инспекторский смотр сводному полку.

Сводный полк — это особый избранный полк моей армии, туда входят лучшие солдатики всех полков и

батальонов. Я вынимаю из шкафа сводный полк в большой коробке — сто штыков. Мы расставляем солдатиков на столе. Застывают кирасиры на белых конях, уланы с желтыми значками, гусары в красных мундирах, французы, немцы, артиллеристы, зуавы в расшитых куртках.

Из другой коробки вынимаю штаб. Любимец Бобки генерал Гурко на облезлой лошади без хвоста и начальник штаба маршал Мюрат на белом коне в окружении адъютантов принимают парад.

— Это ничего, что мне шестнадцать, — оправдывается Бобка. — Я читал, что писатель Уэллс с другим писателем Конан-Дойлем и сейчас между собой в солдатики играют. У Конан-Дойля даже механические солдатики есть! — И Бобка баском командует: — Пар-р-ад! Смир-р-но! К церемониальному маршу приго-о-товсь!

За этим занятием нас застала мама.

Милая мама! Она приходит усталая, у нее бледное, бескровное лицо одного цвета с косынкой сестры милосердия. Мама работает в красноармейском госпитале. Она только что с дежурства. Еще не раздеваясь, с порога комнаты она взволнованно говорит:

— Дети! Царское Село только что занято войсками генерала Родзянко. Наши отступают. Разъезды белых появились у Пулковской Горки.

И тогда Бобка срывается со своего места. Он весь дрожит.

— Я пошел! — нервно кричит он. — Дорогая Ольга Константиновна и Волька, я ухожу в казармы!

И, не обращая внимания на наши уговоры подождать до утра, он торопливо натягивает шинель и нахлобучивает на голову старую фуражку. Потом подходит ко мне и протягивает руку. Я его обнимаю и целую.

— Ольга Константиновна, — просит он маму, — поцелуйте меня в лоб!

На другое утро в школе Бобки нет. Его место рядом со мной пустует. И не только его. Пять человек не явилось. Нина Обольянова, хорошенькая, кукольная девочка лет пятнадцати, вполголоса разговари-

вает с соседом, кадетом Никой Родионовым, нежным и хрупким мальчиком. Они сидят позади меня, и я все слышу:

— Папа говорит: «Финны помогут Юденичу...» (Это Нина).

— Ах, скорее бы! У нас опять был бы свой автомобиль, а то жить противно в царстве хамчиков! (Это Ника).

— Комиссара тогда арестуют, усадьбу возвратят, и я летом вас приглашу. (Это Нина).

— Мерси. У нас у самих великолепная дача в Петергофе! (Это Ника).

Я оборачиваюсь к ним и, делая вид, что ничего не слышал, говорю:

— Знаете? Греков-то в курсанты поступил.

Нина морщит носик, а Ника пожимает плечами:

— Я не удивляюсь... Он никогда не был человеком порядочного круга!

Во мне все кипит, но я сдерживаюсь:

— Он хамчик? — спрашиваю Нику.

— Ну да, — отвечает тот презрительно. — Хамчик, большевик из союза молодежи!

И тогда я радостно бросаю в ангельское личико:

— А вы, Ника, мерзавец и подлец, и, когда придет Греков с фронта, он вам набьет физию.

Входит комиссар. Он смотрит на нас сквозь пенсне, старомодное чеховское пенсне на шнурке.

— Греков здесь? — спрашивает он.

Я поднимаюсь со своего места:

— Данила Александрович! Греков вчера вечером ушел в казармы.

— Ушел все-таки, — произносит комиссар, и глаза под пенсне светлеют, и, оборачиваясь к нам, он говорит: — Пять лучших ваших товарищей на фронте защиты революции. Этим можно гордиться!

Бобка на фронте. Три дня о нем нет никаких вестей.

По вечерам, когда замирает жизнь города, можно слышать отдаленную канонаду и видеть белые полотнища прожекторов, протянутые на свинцовом небе.

В одну из перемен комиссар подзывает меня:

— Вы, кажется, лучший друг Грекова? Расскажите что-нибудь о нем.

Он берет мой локоть, и мы идем по залу. Я рассказываю о Бобке. Потом комиссар говорит о том, как два месяца тому назад к нему пришел Греков и потребовал — «понимаете, пришел и таким суровым голосом требовал по-честному рассказать о коммунизме». — «Я, — сказал он, — все пойму». (В голосе комиссара я чувствую нежность).

И еще день.

Курсанты переходят в наступление. Части генерала Юденича и Родзянко отступают за Пулково, Детское Село.

И вот плохим вечером, когда с моря распространяется пронизывающая сырость, я сижу и слушаю Иркин рассказ об учительнице Нине Петровне. Учительница упала в обморок на уроке географии, она рассказывала о Полинезии, на карте ее отыскивала, и вдруг села на пол бледная вся, и голова трясется. Девочки испугались. Воды принесли. Валя Платонова галету сует. Учительница поднялась с пола, галету взяла, в руках цепко держит. Потом покраснела и галету отдает Вале: «Спасибо вам. Но только вы напрасно... Я просто утомилась. Ночью у сына дежурила. Он у меня воспалением легких болен».

— А какое там утомилась, — говорит Ирка, — сразу видать — голодная.

Ирка говорит сбивчиво, торопясь, и смотрит на меня с тяжелым недоумением:

— И почему это, Воля, так люди живут?

— Как так? — спрашиваю.

— Да так. Белогвардейцы воюют. Кровь, голод, тиф. Раз видят, что их не хотят, ушли бы. — Ирка умолкает.

— Когда я буду большая, — через несколько минут говорит она, — когда я стану твоей женой и мы уедем на Кавказ, я открою для детей горцев школу и научу их бороться против войны. Им и без войны дел хватит!

В комнату входит мама. Она пришла с черного хода, с кухни, и принесла из лазарета запах иодоформа и страданий.

Она приходит домой на несколько часов, усталая и изможденная, и сразу ложится спать, чтобы через четыре часа опять в лазарет, и если нет трамвая —

пешком на Васильевский. Мама теперь скупа на слова и на ласку. Она устало садится на стул и говорит:

— Из Гатчины привезли Бобку, ему очень плохо... Одевайся и поезжай к комиссару. Бобка хочет вас видеть, а я немного отдохну и пойду к его матери. Встретимся в лазарете. Палата номер двадцать, семнадцатая койка.

— А мне можно, тетя? — спрашивает побелевшими губами Ирка и трясется от слез.

— Нет, — жестко говорит мама, — нельзя!

Комиссар живет недалеко от школы.

Я выбегаю на улицу, на ходу застегиваю такую же старую, как и у Бобки, шинель. И говорю себе: «Ты мужчина и не должен плакать». Я это говорю сам себе и вытираю грязным носовым платком глаза.

Трамвай едет чрезвычайно медленно. Если бы я был вожатым, я бы гнал трамвай, как гонят ковбои в Мексике своих лошадей. На Литейном на ходу выскакиваю из вагона и затуманенными глазами ищу дом комиссара. Я не обращаю внимания на дождь и ветер. Нет никаких мыслей, кроме одной, чтобы Данила Александрович не ушел. Я бегу по лестнице на четвертый этаж, сердце готово разбить грудную клетку, и ноги трясутся.

— Данила Александрович! — кричу отворившему дверь Абросимову. — Данила Александрович, скорее... скорей... наш Бобка умирает в лазарете на Васильевском. Скорее, скорей.

Комиссар снимает пенсне и, как дятел, трясет головой.

— Умирает? Греков? — и он прыгает по прихожей, отыскивая шляпу, не находит шляпы и говорит:

— Идем скорей, скорей!..

В трамвае мы молчим. Мы хотим говорить, но не можем.

На седьмой линии мы бежим к мрачному зданию бывшей мужской гимназии, там лазарет.

Санитары знают меня. Я часто бываю у мамы. Но сегодня я не узнаю никого.

Я даже не чувствую, что мои ботинки с дырявыми подметками пропитались водой. Комиссар отряхивается в вестибюле и что-то объясняет дежурной сестре. Мы идем за дежурной по коридорам, из открытых

дверей палаты доносятся стоны и бред раненых. Это доставленные из-под Ямбурга, Детского Села, Гатчины, Пулкова.

Из одной палаты несется чистый звонкий голос команды:

— Из пулеметов по врагам революции — пли!

Сестра с уважением говорит комиссару:

— Это командир особой роты Матросов! Имеет четыре ранения! Его рота первой вошла в Гатчину! — и, останавливаясь у дверей следующей палаты: — А вот здесь товарищ Греков.

Мы на цыпочках идем мимо кроватей. Идем тихо, чтобы не нарушать своими шагами усталый сон измученных людей.

Бобкина кровать крайняя у окна.

За окнами серый, дождливый город, отвоеванный Бобкой у генералов. Бобка Греков лежит и видит его из окна — это хорошо.

Он поднимается на подушках, бледный, с головой, стриженной под машинку, и произносит:

— А Петроград-то наш!

Он смотрит на комиссара и на меня, хочет улыбнуться, но лицо искажает гримаса.

— Спасибо, навестили! Очень рад... — жует губами от мучительной боли и, как бы продолжая начатый рассказ, говорит: — Я и сам не думал, что так выйдет. Когда увидел перед собой знакомые погоны и кокарды, так и винтовку поднять не могу... свои!.. — Бобка протянул вперед бледную худую руку. — Свои! И полковник ихний по-свойски кричит: «Жиды, сволочи! Курсанты! Выдавайте ваших коммунистов!» А тут комроты Седов мне:

— Греков, а ну сбей гада! — а комроты Седов из бывших поручиков, он ясно видит мое волнение и говорит: — Кадет! Слушай, кадет Греков. Народ не хочет их, понимаешь? Наш народ, а мы ему служим, — и он еще убеждает: — Всякие фигли-мигли надо побоку!

Греков возбуждается, и на его серых скулах проступает румянец.

— Не надо, милый Греков, — ласково просит комиссар и гладит Бобкину руку, — не надо! После доскажешь!

— Нет, мне легче... мне надо! — сердится Бобка, — это чрезвычайно важно... надо, чтобы вы поняли. Чтобы хорошо поняли, как я понимал вас и Седова. — И я беру винтовку, целюсь и снимаю полковника, иду вместе с другими в атаку. Я чувствую какой-то подъем, и нет жалости, и ничего нет, только одно: надо...

Бобка кашляет. На его лбу пот. Данила Александрович достает из кармана свой носовой платок, но платок грязен, и комиссар убирает его обратно.

— Воды! — просит Бобка, жадно хватает эмалированную кружку и, захлебываясь, проливая воду на серое байковое одеяло, пьет.

— А на другой день меня в перестрелке ранили в живот, — скупо заканчивает Бобка... — Видя, что к койке подходят наши матери, шепчет: — Воля! Наклонись... — Я наклоняюсь к нему, он хватает мою руку. — Воля! Никому не говори... Ты знаешь что... ты, когда меня не будет уже... Ты Гурко возьми... ты его возьми и незаметно ко мне на грудь положи. Очень прошу. С ним приятнее будет.

Бобка сжимает слабеющими влажными пальцами кисть моей руки:

— Сделаешь?

Я киваю. Я не хочу в присутствии Бобки плакать.

— Ну вот, — облегченно вздыхает Бобка, — ну вот... а теперь иди. Я тебя очень люблю... и Ирке кланяйся. — Затем обращается к комиссару срывающимся от усталости голосом: — Прощайте, Данила Александрович! Я очень рад вас видеть... спасибо!

Комиссар поднимается со своего стула, подходит к Бобке. У комиссара дрожат руки.

— У меня нет сына, — чуть слышно говорит он, — нет сына... но у меня есть много детей, за которых я отвечаю. Из них вы самый лучший, самый мужественный...

У Бобки на глазах показываются скупые слезы:

— Не надо, — шепчет он, — не надо. Я ведь это хот... я ведь хотел просто так... Данила Александрович, я ведь для других это... я от стыда за себя... все... все получил и ничего не дал... а теперь отдал... — и уже совсем тихо: — Вы, Данила Александрович, мою фуражку возьмите. Вам ее мама подарит...

Бобка больше не может говорить. Он устало машет рукой, и мы уходим. У его постели остаются наши матери.

И вот мы идем по улице.

Моросит дождь.

Мы садимся в трамвай, я провожаю комиссара до его дома. У парадного подъезда комиссар говорит с большим чувством:

— У меня есть сын, и этого сына зовут Греков.

* * *

И я помню ночь.

Я уже знаю от мамы, что Бобки нет. Теперь я не стыжусь своих слез. Вместе со мной плачет Ирка:

— Бобка был такой симпатичный! Если бы он был старше, у него был бы ребеночек, мы бы взяли его на воспитание.

В комнате мы одни.

У инженера спят, мама в лазарете.

Я беру коробки с солдатиками с трепетом и большим горем.

Сейчас в моем представлении Бобка — это генерал Гурко, и, чтобы отдать свой последний долг товарищу, я должен похоронить Гурко.

Я расставляю сводный полк.

Я не позволю Ирке трогать солдатиков:

— В другое время можешь, а сейчас нельзя!

Потом я кладу генерала Гурко в спичечную коробку и ставлю ее на лафет крохотного орудия артиллерийской батареи.

Шесть лошадей везут лафет.

Затем я из маминого чемодана достаю лоскуток красной материи и покрываю ею спичечную коробку.

Так хоронят храбрейших наших командиров!

Я глотаю слезы и командую:

— Полк, смир-р-но! На кр-рра-ул!

Затем я говорю речь: «Курсанты! Сегодня мы хороним нашего боевого начальника! Он умер как герой, защищая Петроград... он!.. — дальше я не могу говорить.

Но я должен исполнить Бобкину просьбу и довожу церемониал похорон до конца.

Ирка, смотря на это с благоговением и вытирая слезы, говорит:

— Очень трогательно! Ты и меня так хорони!

Я снимаю с лафета завернутую в красный лоскуток коробочку и кладу в боковой карман своей тужурки.

Завтра утром я отнесу Гурко к Бобке.

И вот наступает завтра.

Я не иду в школу, а сажусь на трамвай и еду в лазарет.

Никто не должен знать о просьбе Бобки.

В лазарете знакомый санитар Сидоров ведет меня в мертвецкую. Какое страшное слово «мертвецкая!» Какое холодное и жестокое!

Бобка лежит в простом деревянном гробу.

Лицо его молодо и спокойно.

Он одет в курсантскую форму и наполовину прикрыт красным покрывалом.

— Тут приходили к нему из школы, заведующий, и распорядились, — объясняет Сидоров.

— Можно побыть с товарищем? — прошу я.

— Ну что ж, — добродушно говорит Сидоров, — ежели хочешь, юноша, то постой... постой, юный товарищ, на карауле... а я минут через десять загляну.

И вот мы с Бобкой наедине.

Я не хочу скрывать того, что мне немного страшно.

Меня знобит лихорадка от необычайности обстановки. Но я превозмогаю боязнь. Наклоняюсь над холодным, спокойным лицом Грекова и говорю:

— Бобка, милый! Я принес Гурко!

Бобка молчит, он спокоен; ведь он знал, что я принесу Гурко.

Тогда я, уже без боязни, расстегиваю Бобкин френч и там, где когда-то билось такое хорошее и верное сердце, кладу Гурко, старого оловянного солдатика на облезлом бесхвостом коне. Застегиваю френч, руки мои дрожат, холод бобкиного тела проходит в мое сознание.

— Вы здесь? — слышу знакомый голос и вздрагиваю. Перед гробом стоит Данила Александрович. Лицо у комиссара постаревшее и усталое. В руках он держит венок из искусственных цветов, перевитых алой лентой. Он кладет венок у ног Бобки. Концы

ленты опускаются, я читаю надпись золотыми буквами: «Солдату революции Грекову» (это на одном конце), «Школа и педагоги гордятся тобою» (это на другом).

* * *

На следующий день хоронили Бобку. За гробом шел оркестр, рота курсантов школы имени Володарского и наша группа.

На проспект падал снег и таял. Первый петроградский снег, мерзлый и мокрый

Но курсанты идут бодро. Их молодые обветренные лица спокойны, шаг их четок и решителен. Они знают, что Юденич опрокинут и что жертвы, понесенные ими, спасли город революции.

На Смоленском кладбище комиссар произносит речь. Комиссар в дни своей юности слушал лекции на историко-филологическом факультете и любит говорить историческими аналогиями:

— Товарищи! Мы хороним курсанта Грекова, юношу, подобного героям Великой французской революции! Он пришел к нам из другой среды, но был молод и восприимчив ко всему светлому и прекрасному. Он понял, что это новое рождается здесь в муках голода и борьбы за счастье угнетенных. Он пришел к нам в самый тяжелый момент и сказал: «Если революции, если моей свободной Родине нужна моя жизнь — пусть она возьмет ее!» И он радостно отдал свою жизнь за новую молодость своей великой страны. Он погиб от пули тех генералов, которые хотели воспитать из него покорного исполнителя своих желаний, воспитать из него слугу царя и господ. Уходящая затхлая Россия убила курсанта Грекова. Но курсант Греков остался жить! — комиссар обводит зарницами своих пенсне нас, стоящих около могилы, и вдруг рвущимся звонким голосом заканчивает:

— Привет вам, дети! Привет вам, юноши. Вы стоите на страже молодости Республики, и каждый из вас так же смел и так же честен, как Греков.

Играют похоронный марш.

Гроб опускают на полотенцах в яму.

Потом мы бросаем горсти глинистой земли на крышку гроба. Работают лопаты.

Вырастает могильный холмик. Раздается команда, и троекратный залп прорезывает нашу печаль.

Когда мы уходим, каждый из нас оглядывается с любовью на свежий сосновый столб с жестяной дощечкой, на которой старательно написано: «Курсант военной школы Володарского Борис Александрович Греков. Родился в 1903 г., скончался от ран 30 октября 1919 года».

Примечание: «Оловянные солдатики» — довоенный рассказ писателя—был опубликован в журнале «Знамя», переведен на французский язык и отмечен в парижском журнале «Коммюн».

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Степанович Железняк

ГОЛОСА ВРЕМЕНИ

Редактор **В. А. Оботуров**
Оформление **Н. В. Железняк**
Художественный редактор **В. С. Вежливцев**
Технический редактор **Н. Б. Буйновская**
Корректоры: **А. А. Фонтейнес, С. В. Ширикова**

Сдано в набор 28.4.1976 г. Подписано к печати 9.7.1976 [illegible]
Формат 84×108/32. (Бумага типогр. № 1). Физ. печ. л. [illegible]
Усл. печ. листов 9,66. Уч.-изд. листов 8,983. ГЕ0131[illegible]
Тираж 15000. Цена 42 коп. Заказ 331[illegible]

Вологодское отделение
Северо-Западного книжного издательства,
Вологда, Урицкого, 2.

Областная типография, г. Вологда, Челюскинцев, 3.

42 коп.


Вл. ЖЕЛЕЗНЯК
ГОЛОСА ВРЕМЕНИ